Р А Н И О Н и И К П

ЛИТЕРАТУРА
и
МАРКСИЗМ

ЖУРНАЛ
ТЕОРИИ и ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ

КНИГА ВТОРАЯ

2



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1930

СОДЕРЖАНИЕ



ИСТВ

АВ

О С

НСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ РАНИОН И ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИКП

ЛИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ

ЖУРНАЛ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

КНИГА ВТОРАЯ

АВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1930

Отпечатано
в 14 типографии
„МОСПОЛИГРАФ“,
Варгунихина гора, 8.
Главлит № А 70486
Гиз. № 42081 Тираж 4000
Зак. 1442. $8^{1}/_{2}$ п. л.
Ст. ф. A_5 148×210

Ф. П. Шиллер

Д. Б. РЯЗАНОВ

(К шестидесятилетию со дня рождения)

Д. Б. Рязанов является несомненно самым крупным и выдающимся марксоведом не только в СССР, но и во всем мире. И именно благодаря его многогранной научно-исследовательской, издательской и организационной деятельности марксоведение сделалось научной исторической дисциплиной. Еще до Октябрьской революции — большей частью в эмиграции — он своими работами по истории марксизма строил, камень за камнем, эту новую науку; но естественно возможность создать широкий базис для развертывания и применения марксоведения он получил только после победы пролетарской революции. Рязанов основал Институт Маркса и Энгельса, мировой центр марксоведческой мысли, и внутренняя структура этого института такова, что она охватывает все области марксоведения в широком его понимании. В первой своей брошюре об институте (1924) Рязанов указывает на следующие его задачи, совпадающие с задачами марксоведения: «Изучать генезис, развитие, распространение теории и практики научного социализма, революционного коммунизма, как он был создан и формулирован К. Марксом и Ф. Энгельсом». Для изучения этого «генезиса» недостаточно ограничиться одними только произведениями Маркса и Энгельса, но необходимо также изучить и все те п р е д п о с ы л к и в различных отраслях теории и практики, из которых, являясь закономерным звеном в эволюции общественного развития, выкристаллизовался наконец марксизм как мировоззрение революционного, осознавшего свою историческую роль пролетариата. Таким образом, в понятие марксоведения включаются история материалистической и классическо-идеалистической философии, политическая экономия, политические учения, история социалистической (домарксистской) мысли и т. д. Это в отношении теории. А поскольку политическая практика и литературная деятельность Маркса и Энгельса были связаны с работой политических партий, и особенно

с революционным и рабочим движением всех стран в XIX в., постольку марксоведение в области истории фактически охватывает всю историю революции, общую политическую историю и историю рабочего движения XIX в. Вот тот фундамент и широкие границы, не говоря уже о ряде смежных областей, в рамках которых Рязанов основал марксоведение.

Работы Рязанова по истории марксизма относятся к самым различным областям деятельности Маркса и Энгельса. В последнем наиболее полном издании его «Очерков» мы встречаем работы, написанные с одинаковым знанием дела как по биографии Маркса и Энгельса, так и по вопросам внешней политики, по военному делу и марксизму, и т. д. Для нас, историков литературы, работы Рязанова имеют большое значение в трех отношениях: 1) они все более и более дополняют и очищают от неправильных толкований все литературное наследство основоположников научного социализма, реконструируя таким образом полную картину возникновения и развития марксизма; 2) метод исторического исследования, применяемый Рязановым, его чрезвычайно серьезное отношение к вопросам методологии, может дать нам много ценного и для методологии историко-литературного исследования; 3) особенно важное значение для нас имеют и работы Рязанова по исследованию взаимоотношений, установившихся между русскими людьми XIX в., с одной стороны, и Марксом и Энгельсом — с другой, выяснение тех каналов и путей, через которые марксистская мысль проникала в русскую литературу, пока марксизм не стал господствующей идеологией в русском революционном движении. В этих работах затронуты столь важные для историка как русской, так и западноевропейской литературы моменты «влияния», его методология и необходимые предпосылки — вопросы, на недостаточную разработанность которых в истории и методологии литературы всегда указывал и покойный В. М. Фриче. Поэтому, прежде чем перейти к работам по другим областям истории марксизма, мы выделим здесь те, которые имеют на наш взгляд несомненно важное значение для историка русской критики и публицистики.

На первом месте среди этих работ стоит работа «К. Маркс и русские люди сороковых годов», мимо которой не может пройти ни один исследователь данного вопроса. Исходя из того места в письме Маркса к Кугельману, где он сообщает своему другу о переводе «Капитала» на русский язык, он добавляет: «По какой-то иронии судьбы, именно русские, на которых я втечение 25 лет неустанно нападаю не только в

немецкой, но и во французской, а также и английской прессе, всегда были моими «доброжелателями». В 1843—44 гг. русские аристократы носили меня на руках». Рязанов заинтересовался не только историко-биографической стороной этого сообщения, т. е. возможностью установить, с какими именно русскими аристократами имел дело Маркс[1], но поставил вопрос гораздо глубже: «существовало ли какое-нибудь непосредственное идейное воздействие взглядов Маркса на людей 40-х гг. и в какой форме оно могло проявиться или действительно проявилось?»[2] Рязанов прежде всего исследует проблему, почему русских «лишних людей» в 20-х гг. тянуло в Гетинген, в 30-х гг.— в Берлин, а в 40-х гг.— в Париж, во Францию, страну Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд. Используя сведения, сообщаемые многочисленной мемаурной литературой («Записки» П. В. Анненкова, А. Я. Головачевой-Панаевой, Герцена и др.) и неопубликованные архивные материалы, Рязанов рисует нам на фоне истории русской критики и публицистики 30—40-х гг. взаимоотношения Маркса с Сазоновым, Анненковым, Головиным, Боткиным, Бакуниным и Толстым[3]. Особенно ценна характеристика Анненкова, письма которого нашлись в наследстве Маркса. Нужно отметить, что репутация Анненкова, слава которого как литературного критика 50-х гг. угасла уже давно, зиждилась главным образом на его мемуарах («Замечательное десятилетие»). И здесь Рязанов шаг за шагом, опираясь на высказывания самого же Анненкова в 40-х и 70-х гг., разрушает последние остатки ее. Так, анализируя воспоминания Анненкова о споре между Марксом и Вейтлингом в 1846 г. и о переезде Маркса и Энгельса в 1848 г. в Париж, где все дано в ложном свете, Рязанов пишет: «Всю эту галиматью можно об'яснить лишь тем, что Анненков забыл или вычеркнул из своей памяти решительно все, что относилось к этой новой встрече». Выдавая себя в 1847 г. в письмах к Марксу за наирадикальнейшего демократа, не желающего мириться даже на Робеспьере, тот же самый Анненков позже с презрительным сожалением писал о Сазонове, что он «разделял эксцентрические планы заграничных партий и их несбыточные надежды». Вообще, своими работами о взаимоотношениях русских с Марксом и Энгельсом Рязанов разбил не одну иллюзию. Вспомним

[1] Рязанов тогда еще не располагал интересными письмами А. Руге к Кехли 1844 г. из Парижа, содержащими ряд фактов о встречах Маркса с русскими.

[2] «Очерки», II, стр. 23.

[3] Рязанов тогда думал, что упоминаемый в переписке Маркса и Энгельса Толстой был Яков Толстой. Как теперь выяснилось, это был казанский помещик Григорий Михайлович Толстой.

его статью «По поводу одной легенды», критикующую неправильные сведения в воспоминаниях Герцена и в работах Дава и Неттлау о мнимом оклеветании Бакунина Марксом в 1853 г. Такую же легенду Рязанову предстояло разрушить и по поводу В. П. Боткина, легенду, созданную П. Струве, старавшимся сделать Боткина «родоначальником» русского марксизма. Правда, Боткин еще в 1842 г. встречался с молодым Энгельсом в Берлине, он даже перевел в статье, посвященной немецкой литературе 1842 г., одно место из брошюры Энгельса о Шеллинге (не указывая источника) — о первой лекции Шеллинга против Гегеля, на которой присутствовали также Тургенев, Бакунин и Катков. Правда, он виделся, как выясняется из писем Руге к Кехли, вместе с Анненковым и др. с Марксом в Париже в 1844 г. Но те «гениальные воззрения» Боткина на социализм, которые приписывает ему Струве, имели, как доказывает Рязанов, своим источником рассказы того же Анненкова о работах Маркса. «Схваченную на лету новую премудрость, перевирая ее и подменяя плоскими афоризмами из Штейна, он преподносит теперь с апломбом своим московским и питерским друзьям».

Каков же вывод из исследования взаимоотношений русских с Марксом в 40-х гг.? Существовало ли какое-нибудь непосредственное воздействие идей Маркса на эволюцию русской общественной мысли? «Мы можем теперь ответить, — отвечает Рязанов, — что такое влияние действительно имело место, но оно оставалось чисто индивидуальным и кристаллизовалось только в случайных заявлениях. Оно не вошло определенным звеном в дальнейшее развитие русской общественной мысли, и никакой идейной преемственности между «марксизмом» Анненкова и Боткина и современным нет и не может быть... Знакомство Маркса с людьми 40-х гг. остается только любопытным эпизодом в истории западного влияния в русской литературе. Понадобились еще долгие годы мучительной общественной и политической эволюции, пока в России созрели условия для восприятия основных идей марксизма».

Выявлению тех «материальных» и «интеллектуальных» элементов, которые создали предпосылки в эволюции русской общественной мысли, необходимые для восприятия марксизма в России, посвящена другая известная работа Рязанова, написанная гораздо раньше предыдущей, — «Две правды» («Народничество и марксизм»). Есть ли какая-нибудь связь между Марксом 40-х гг. и русским марксизмом? Для выяснения этого вопроса важны не столько личные встречи русских с Марксом, как другое: «Белинский и Герцен 40-х годов, пишет Рязанов, — никогда не

встречавшиеся с Марксом, но прошедшие вместе с ним общую подготовительную школу, Чернышевский и Добролюбов, побывавшие с ним в школе Фейербаха, Фурье и Оуэна, Бакунин второго периода своей деятельности и «народники» 70-х гг.— все они теоретически и практически приближали время, когда развившееся в условиях «гнилого Запада» учение «немецкого еврея» стало знаменем величайшей эпохи в историческом развитии «самобытного русского народа». Будучи сам раньше народовольцем и лавристом, Рязанов, став марксистом и вооружившись методом исторического материализма, вскрывает в работе «Две правды», всю трагедию народничества и определяет его историческое место в развитии общественной мысли в России. И здесь Рязанов опять устанавливает ту тесную связь, которая существовала между идеологией мелкобуржуазной немецкой интеллигенции 30—40-х гг. (истинный социализм) и идеологией русских народников 70—80-х гг. Разбирая систему Михайловского, Рязанов замечает: «Специфическая русская окраска этой комбинации заставила ее автора забыть, что элементы его системы были выработаны западно-европейской мыслью еще до 1844 г. Надо заметить, что и вообще зависимость нашей литературы от западно-европейской гораздо сильнее, чем это кажется иногда нашим «самостоятельным мыслителям»[4]. Работа «Две правды» была написана в 1901 г. В это же время начинается его сотрудничество в тогдашнем органе международного марксизма «Neue Zeit». Начатая им марксоведческая работа была прервана революцией 1905 г., в которой Рязанов принимал активное участие, особенно в профессиональном движении (в Петербурге). Очутившись после ареста 1907 г. опять за границей, в Берлине, он возобновляет свои исследования по истории марксизма. И прежде всего он приступает к разработке тех проблем марксоведения, которые до него очень мало затрагивались старыми историками марксизма (Бернштейн, Каутский, Меринг и др.) или даже искажались,— это темы в произведениях Маркса и Энгельса, связанные с Россией. И здесь он — самый ревностный хранитель ортодоксального марксизма — в обстоятельной критической работе «Англо-русские отношения в оценке Маркса» подвергает воззрения Маркса существенному пересмотру и устанавливает ошибочность взглядов Маркса в ряде серьезных, основных вопросов этих отношений. Эта работа имеет значение не только для марксоведения в узком понимании этой дисциплины,— в ней Рязанов впервые подвергает марксистскому анализу

[4] «Очерки», II, стр. 123

концепцию развития России и русской общественной мысли, выработанную как официальными старыми русскими историками, так и либералами и народниками. Вскрывая ошибочный взгляд Маркса на развитие московского княжества и на ту роль, которую — по Марксу — играло в его возвышении татарское иго, он пишет: «Конечно, союз с татарским ханом давал известные преимущества, но в борьбе между Тверью и Москвой победили в последней не козни и интриги московских князей, а экономическое превосходство Москвы, наполнявшее деньгами тот кошелек, при помощи которого Иван Калита и его преемники могли в Золотой орде покупать себе ярлыки на великое княжение и право на сбор дани. Как и во всех других случаях, когда речь идет о внешнем влиянии, характер и сила последнего определились внутренними условиями». Ошибки Маркса в данном вопросе об'ясняются именно тем, что он на основании имевшихся в его распоряжении скудных, отчасти им впервые открытых материалов и недостаточного анализа их не учитывал при исследовании происхождения русского абсолютизма этих внутренних условий. «Для Маркса,— пишет Рязанов,— все эти внутренние условия развития абсолютизма в России совершенно исчезают. Поэтому в его изображении совершенно пропадают два столетия русской истории: от Иоанна III до Петра, которые отмечаются коренной перегруппировкой общественных классов... Пропустив всю внутреннюю историю России от Иоанна III до Петра I, Маркс запер себе путь к пониманию ее внешней политики[5]. Но если Маркс безусловно ошибается в своей оценке англо-русских отношений XVII—XVIII вв., то, может быть, он прав в своей оценке русского абсолютизма и его роли как жандарма европейской революции в XIX в.?

В главе «Внешняя политика России и революция» Рязанов опять доказывает, что Маркс до 1860 г. держался своих прежних ошибочных взглядов и что он «и в начале 60-х годов оставался при своем старом мнении. Внутреннее развитие России от Петра I до Алексадра II ускользнуло из поля его зрения. Он не замечал ни той эволюции, которую переживал втечение этого периода русский абсолютизм, ни экономического развития России и его тесной связи с экономическим развитием Англии»[6].

Исследуя русские вопросы марксоведения и связанные с ними вопросы международной политики второй половины XIX в., Рязанов натолкнулся

[5] «Очерки», II, стр. 211
[6] Там же, стр. 2?2

на ряд родственных им проблем, как-то: польский вопрос, турецкий вопрос и вообще проблема Ближнего Востока, затем Индии, Китая и т. д. Благодаря этим статьям, а также ряду очерков из жизни и деятельности Маркса и Энгельса и истории социализма и рабочего движения Рязанов выделился как один из лучших историков марксизма и знатоков Маркса и Энгельса, и имя его обратило на себя внимание марксистских и немарксистских историков. И вот уже в 1909 г. известный исторический менгеровский комитет в Вене поручает ему собрать и издать документы и материалы по истории I Интернационала. Втечение ряда лет он со свойственной ему энергией собирает многочисленные материалы в германских, австрийских, швейцарских, итальянских и др. архивах и библиотеках, используя особенно литературное наследство Маркса, Энгельса, И. Ф. Беккера, Г. Юнга и др. как в части, хранившейся в центральном архиве германской с.-д. партии в Берлине, так и в части наследства, бывшей в то время у Лафаргов. В 1914 г. первый том этих документов был составлен и набран, но мировая война помешала его изданию.

Насколько необходима и политически актуальна подлинно-марксистская история I Интернационала, знает каждый марксист, знакомый с теми легендами, которые были созданы анархистами и их сторонниками вокруг этой первой крупной международной ассоциации рабочих. Какую ценность будет иметь это капитальное исследование, предпринятое Рязановым, можно судить по опубликованному им первому очерку ее истории [7]. Притом нельзя не признать — особенно в данном вопросе — уместным тот строгий подход, с которым Рязанов подходит к обработке и комментированию каждого документа, требующего выяснения массы всевозможных деталей. Ибо «давно уже пора,— пишет он,— дать себе ясный отчет относительно всех форм, в которых пролетариат совершает на наших глазах свою классовую организацию, а это невозможно без детального анализа конкретного процесса, без скрупулезного установления всех фактов, из которых складывается и которыми обусловливается развитие классовой организации пролетариата в национальном и интернациональном масштабе». Таков уж метод исследований Д. Б. Рязанова: быть «скрупулезным» до последней точки над i, не доверяя в этом отношении никому. И вот, работая так «скрупулезно» над огромным материалом по истории I Интернационала, он в результате своих исследований, основанных не только на критическом пересмотре имевшегося уже печатного

[7] Д. Рязанов—Международное товарищество рабочих, I. Возникновение I Интернационала («Архив Маркса и Энгельса», кн. I, 1924, стр. 105—188)

материала, ускользнувшего однако от внимания различных марксоведов, но и на огромном архивном материале, дал во многих пунктах совершенно другие выводы, чем те, к которым пришли немарксистские (главным образом анархистские) и некоторые марксистские историки, особенно Меринг. Центральными пунктами расхождения, повлекшими за собою резкую полемику между ним и Мерингом, явились: неправильная оценка анархистами и Мерингом роли Бакунина и Маркса в I Интернационале и исторической роли и взаимоотношений Маркса и Энгельса, с одной стороны, и Лассаля и Швейцера — с другой. Насколько правым в этом споре оказался Рязанов и как ошибался Меринг, показали новейшие архивные данные о Бакунине и Лассале.

В процессе своей работы над историей Интернационала Рязанову, само собой разумеется, пришлось заняться и историей первой международной организации рабочего класса — союза коммунистов. И тут он, на основании архивных документов, бывших также в руках Меринга, разрушает еще одну легенду, созданную не кем иным как самим Энгельсом, по забывчивости, на старости лет. В своем известном предисловии к новому изданию книги Маркса о кельнском процессе коммунистов Энгельс в историческом очерке о «Союзе справедливых» и основании «Союза коммунистов» представляет дело так, будто бы он и Маркс до 1847 г. стояли почти совершенно особняком от рабочего движения и играли по отношению к «Союзу справедливых» роль каких-то «посторонних зрителей», пока лидеры этого союза не убедились в правильности их взглядов и не приехали к ним (из Лондона),— как, по преданию, славяне к варягам,— с предложением вступить в союз и внести теоретическую ясность в путаные головы коммунистов. Эта концепция Энгельса была потом дополнена деталями, данными Мерингом, Г. Майером и К. Грюнбергом, но в основном она оставалась неуязвимой. И только Рязанову удалось доказать, что на самом деле все обстояло совершенно иначе, что Маркс и Энгельс очень рано выступили как «практики» революционного движения и что именно они, несмотря на обратные показания Энгельса, являются организаторами «Союза коммунистов».

В этой обширной исследовательской работе, сопряженной с многочисленными архивными и книжными изысканиями, Рязанову удалось установить очень много неизвестных и забытых газетных и журнальных статей, опубликованных в 50 и 60-х гг. Марксом и Энгельсом главным образом в «Нью-йоркской трибуне», в чартистских, уркартистских, австрийских и германских газетах,— о восточном вопросе, внешней по-

литике и социально-политической истории XIX в. вообще. Хотя небольшая часть этих статей и была напечатана Эвелингами, все же до Рязанова никто не оценивал по достоинству значения этих работ для развития марксизма и взглядов Маркса и Энгельса на ряд важнейших проблем внешней политики главнейших европейских государств в XIX в. После «открытия» этих статей ему было поручено ЦК германской с.-д. партии издать литературное наследство Маркса и Энгельса 1850—1862 гг., т. е. в сущности продолжить известное трехтомное издание наследства Маркса — Энгельса, предпринятое Мерингом. В начале 1917 г. вышли первые два тома этой публикации с весьма пространными историческими введениями и комментариями, из которых составились такие очерки, как «Маркс и Энгельс как туркофилы», «Маркс и Уркварт», «Маркс и Пальмерстон» и др. Насколько узко, национально подходили иногда к марксоведению до Рязанова, показывает между прочим оценка этих двух томов Мерингом. В то время как буржуазные историки, как А. Штерн и Г. Онкен, приветствовали это издание как заслуживающее величайшей благодарности обогащение не только социал-демократической, но и общей политической и исторической литературы новыми данными, как важнейший источник для изучений истории XIX в., Меринг не придал ему существенного значения.

Дальнейшее издание наследства Маркса и Энгельса было на этот раз прервано Февральской революцией. Рязанов возвращается в Россию и всецело отдается практической революционной борьбе. В 1917—18 гг. он принимает деятельное участие в профессиональном движении, в работе среди военных частей, в борьбе против меньшевиков и эсеров и т. д. Он занимает ряд ответственных должностей, а в мае 1918 г. на него возлагается заведывание архивным делом,— и с каким уменьем он реорганизовал его, будучи поставлен во главе организованного им же Центрархива, об этом рассказывает М. Н. Покровский в своей статье [8]. Начиная с 1919 г., он посвящает свою неутомимую энергию главным образом двум важнейшим для молодой Советской республики задачам на идеологическом фронте: с одной стороны, принимая ближайшее участие в организации Социалистической (ныне Коммунистической) академии, он создает теоретический центр марксистской мысли, а с другой стороны, следуя словам Маркса, что теория становится силой тогда, когда она овладевает массами, читает на организованных при академии

[8] М. Н. Покровский—Рязанов в советском строительстве («Правда» от 11 марта 1930 г.).

курсах марксизма лекции о жизни и деятельности Маркса и Энгельса и популяризирует их учение. Эти лекции, переиздававшиеся неоднократно и переведенные на ряд европейских языков, представляют, несмотря на их сжатость, первый опыт подлинно-марксистской биографии двух основоположников научного социализма на фоне социально-экономической и политической истории Европы XIX в. и во многих вопросах исправляют не только псевдомарксистские биографии Маркса и Энгельса, но и известную биографию Маркса, написанную Мерингом и выказывающую все старые ошибки автора. Конечно, действительно научная, марксистская биография Маркса и Энгельса еще не написана. Но и в этом своем первом опыте Рязанов показал, как методологически надо строить марксистскую биографию; и если принять во внимание споры между нашими литературоведами вокруг вопроса о биографии, то нельзя не признать именно методологическую ценность биографических работ Рязанова.

Работая в Социалистической академии, Рязанов еще в 1919 г. организовал «кабинет марксизма», первоначальную ячейку будущего Института Маркса и Энгельса. И когда ЦК РКП своим постановлением от 8 декабря 1920 г. возложил на Рязанова задачу «создания первого в мире музея по марксизму», он вместо «музея по марксизму» приступает к организации научно-исследовательского института с целью «создать хорошо оборудованную лабораторию, в которой научный исследователь мог бы, при наиболее благоприятных условиях, изучать генезис, развитие, распространение теории и практики научного социализма». Начинается работа по учреждению не имеющей себе предшественников или даже несколько аналогичных ей в буржуазных странах кузницы научно-марксистской мысли. 1921 — 25 гг. являются временем неутомимой организационной деятельности Д. Б. Рязанова, годами собирания ценнейших книжных, газетных, архивных и музейных фондов в главнейших странах Западной Европы и Америки. Всей своей структурой, со своими двенадцатью кабинетами, ячейками научно-исследовательской работы, институт создан именно так, чтобы охватить все стороны теоретической и практической деятельности Маркса и Энгельса и вопросы социализма и рабочего движения на Западе. Основав такой институт, Рязанов стал во главе учреждения, давшего ему возможность применить в широких размерах и реализовать все свои огромные знания, опираясь на коллектив научных работников института, накопленные втечение десятков лет индивидуальной исследовательской марксоведческой работы. В ин-

ституте также он смог осуществить уже давно поставленную им себе задачу — собрать и опубликовать все произведения Маркса и Энгельса. К изданию первого русского собрания сочинений он приступил еще в 1923 г., но вышло всего 4 тома. Во время своей летней поездки за границу в 1923 г. Рязанов снова получил доступ к литературному (рукописному) наследству Маркса и Энгельса, хранящемуся в Центральном архиве германской социал-демократической партии в Берлине, а также на квартире у Эд. Бернштейна. Просматривая это наследство, он открыл столько новых, неопубликованных работ Маркса и Энгельса, что весь план предпринятого им русского издания необходимо было пересмотреть. С 1923—27 гг. все рукописное наследство Маркса и Энгельса (55 000 фотоснимков) фотографируется, создается специальный архив института, где эти материалы расшифровываются и приводятся в порядок. Начинается на основании этих материалов историко-критическая реконструкция подлинного текста произведений и писем Маркса и Энгельса, очищение их от всех искажений, «вольных» и ложных толкований и сокращений. В этих целях институт предпринял в 1927 г., под редакцией Рязанова, международное историко-критическое издание полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языке оригинала в 40 томах (вышло 6 томов). Это первое научное издание ляжет в основу всех дальнейших национальных и популярных изданий (сейчас приступлено к популярному изданию на немецком и английском языках). С 1928 г. выходит новое русское 27-томное издание избранных сочинений, которое будет закончено в 1932 г.

Эта огромная работа по «реконструкции» подлинного Маркса и Энгельса и изучение их произведений приводят к необходимости ознакомления с их предшественниками и последователями. И вот Рязанов дает ряд публикационных серий института, посвященных исследованию этих вопросов: «Библиотека материализма», в которой печатаются произведения предшественников марксизма в философском отношении (Гоббс, Гольбах, Дидро, Ламетри, Фейербах, Толанд и др.), затем «Избранные сочинения Гегеля»; в области политической экономии издается серия «Классики политической экономии» (Рикардо, Смит и др.); предшественникам — утопистам-социалистам — посвящена серия «Классики социализма». Рязанов же издает и редактирует полное собрание сочинений Г. В. Плеханова, сочинения Каутского, Лафарга и др. На более широкие читательские круги, в первую очередь на партактив и вузовцев, рассчитаны популярная серия «Библиотеки марксиста» и отдельные комментированные

произведения Маркса и Энгельса, как например известное издание «Коммунистического манифеста», под редакцией Рязанова, «Диалектика природы» и др.

Одна из наибольших исторических заслуг Рязанова как перед марксистской наукой, так и перед международным рабочим классом та, что ему удалось почти полностью собрать и сконцентрировать в одном месте все литературное наследство обоих основоположников научного социализма. Кто знает, как с этим наследством обращались душеприказчики Маркса и Энгельса, германские социал-демократы, и как велика была опасность окончательной потери многих материалов из наследства, и так уже раздробленного на три части (в архиве германской с.-д. партии, у Бернштейна и у Лауры Лафарг), тот сможет оценить ту огромную энергию, которую Д. Б. Рязанов затратил втечение многих лет на «открытие» и собирание всех рукописей Маркса и Энгельса. Так как опубликование вновь открытых рукописей из наследства в собрании сочинений шло недостаточно быстро, то Рязанов приступил в 1924 г. к изданию первого институтского журнала «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». В нем впервые напечатаны такие работы, как части «Немецкой идеологии», «Диалектика природы», реконструированный Рязановым текст фальсифицированного знаменитого предисловия Энгельса к «Классовой борьбе во Франции» Маркса, «Подготовительные работы к «святому семейству» и др. Трудно найти в истории послереволюционной, советской, научно-общественной мысли другой пример, когда издание какой-либо научной работы дало бы такой сильный толчок к марксистским теоретическим исследованиям, а также помогло бы выявить антимарксистские тенденции в такой степени, как это имело место после опубликования в «Архиве» — в русском и немецком изданиях—этих вновь открытых работ Маркса и Энгельса. Ввиду все большего накопления редких книжных и архивных материалов, публикация которых являлась настоятельной необходимостью, Рязанов в 1926 г. приступает к изданию второго институтского журнала — «Летописи марксизма», который выходит чаще и ставит себе иные задачи, нежели «Архив». Цели этого нового журнала Рязанов определяет таким образом: на первом месте должно стоять освещение мало исследованных взаимоотношений западной и русской общественной мысли. Но издание это преследует еще и другие важные задачи, как-то: опубликование документов и материалов не только по истории социализма и марксизма, но и по истории классового самоопределения пролетариата, по истории револю-

ционных движений рабочего класса и крестьянства в различных странах. Издание этих материалов рассчитано в первую очередь на преподавателей факультетов общественных наук в вузах, комвузах и совпартшколах для помощи в их исследовательской работе. Но особенно важной заслугой «Летописей» нужно признать почти исчерпывающий указатель и обзор всесоюзной советской марксистской литературы, а также части иностранной в областях, имеющих отношение к работам института. «Быть действительным спутником революционного и ученого марксиста» — такова цель журналов института, как ее определяет Д. Б. Рязанов.

После того как первая стадия деятельности института — собирание материалов — в основном была закончена, юбилейная сессия ЦИК СССР осенью 1927 г. в резолюции по докладу Д. Б. Рязанова возложила на институт также обязанность собирать и издовать международную серию памятников по истории пролетариата и его классовой борьбы с целью сделать доступными для научного исследования материалы, хранящиеся в архивах различных стран. Для выполнения этого постановления институт продолжает приобретать у заграничных антикваров и частных лиц подлинные рукописи по истории революционного и рабочего движения (приобретеню уже 15000 архивных единиц) и в более широком масштабе фотографировать материалы в западноевропейских и американских государственных, провинциальных, городских и т. п. архивах (сделано пока свыше 150000 фотоснимков). В этой серии памятников намечены к опубликованию архивные документы, в которых отражаются борьба рабочего класса в процессе его выделения из крестьянства и ремесленничества и революционное движение в международных об'единениях рабочих (напр. документы о Бабефе и заговоре равных, о «Союзе коммунистов», I и II Интернационалах и развитии рабочего класса в отдельных странах).

Обладая такими богатыми книжными (свыше 400000 томов), архивными и музейными материалами, институт не мог оставаться чисто хранилищем, и поэтому он уже очень рано, еще с 1923 г., периодически организовывает выставки, из которых впоследствии вырос музей института. Он был основан в 1924 г. постановлением ЦИК СССР, согласно которому на институт было возложено устройство при нем открытого для широких рабочих и крестьянских масс музейного отделения по марксоведению и истории международного рабочего и коммунистического движения. Музейный фонд, насчитывающий свыше

140 000 экспонатов (плакаты, гравюры, фотографии, альбомы, карикатуры и т. д.), уже сейчас является богатейшим иконографическим собранием материалов по революционному движению во всем мире. Устраиваемые за последние годы выставки по Парижской коммуне, Великой французской революции и жизни и деятельности Маркса и Энгельса вызывают восхищение лучших знатоков — советских и иностранных историков-марксистов и немарксистов.

Вся эта огромная организационная, научно-исследовательская и издательская работа института проделывается конечно не одним Рязановым, а целым коллективом сотрудников. Но Рязанов является не только руководителем и директором в обычном понимании этого слова: можно сказать без преувеличения, что все книги, рукописи и музейные материалы буквально проходят через его руки; он руководит не только общей работой института — нет, он непосредственно руководит чуть ли не работой каждого сотрудника в отдельности. Он всех зажигает своим огромным энтузиазмом и пафосом работы.

Институт Маркса и Энгельса находится сейчас во второй стадии своего развития: если в первой главное внимание его было обращено на собирание материалов, то сейчас в центре деятельности института стоит издание сочинений Маркса и Энгельса и др. публикационных серий. Это не значит, что институт до сего времени не занимался совершенно научно-исследовательской работой: о ней лучше всего свидетельствует все уже изданное институтом как самостоятельные исследования самого Рязанова и др. сотрудников института, так и многочисленные введения и комментарии к более чем 100 названиям публикаций института. Издательская работа несомненно будет стоять еще 2—3 года в центре внимания деятельности института.

Своими публикациями и научно-исследовательской работой руководимый Д. Б. Рязановым институт сделал уже колоссально много. Своей деятельностью по устройству института и издательской Рязанов доказал, что он не только ученый марксовед, но и блестящий организатор и руководитель крупным и научным центром. Институту Маркса и Энгельса предстоят еще огромные задачи на фронте культурной революции и социалистического строительства в СССР и в борьбе за ортодоксальный марксизм, против анти- и лжемарксистских толкований учения основоположников научного социализма в международном масштабе. По завершении же важнейших своих публикационных серий институт вступит в третью стадию своего развития, когда основная

его деятельность будет состоять в плановой разработке самостоятельных исторических и теоретических проблем марксизма. Сюда войдут такие темы, как история и тактика революционного и рабочего движения до 1914 г. в различных странах и ряд монографий и исследований по изучению генезиса марксизма в области философии, политической экономии, истории политических теорий и социалистических идей. Но в центре этих исследовательских работ должны стоять темы, материалы для которых Д. Б. Рязанов подготовляет, в сущности говоря, уже почти всю свою жизнь, которые он, отвлеченный организационной и издательской деятельностью, не смог до сего времени систематически обработать и закончить, — это научная биография Маркса и Энгельса и история I Интернационала. Та неутомимая энергия, с которой работает наш шестидесятилетний юбиляр, дает нам полную уверенность, что эти капитальные труды, являющиеся синтезом всей марксоведческой деятельности Д. Б. Рязанова, скоро увидят свет.

В. Я. Кирпотин

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИДЕОЛОГИЙ

Несколько методологических замечаний по поводу статьи Б. П. Козьмина — «Писарев и социализм» [1]

Б. П. Козьмин написал работу о Писареве и социализме. В своей работе т. Козьмин проявил много трудолюбия. Однако бездна проявленного Б. Козьминым трудолюбия не спасла его от совершенно неправильных выводов. Неправильные выводы т. Козьмина зависят от допущенных им в исследовании методологических ошибок. И ошибки могут быть поучительными. По крайней мере они могут принести отрицательную пользу, научить, как не надо работать. В нижеследующих строках мы и хотим показать, как не надо заниматься исследованием идеологии.

I

Первое условие изучения всякой идеологической концепции состоит в умении добросовестного чтения. Исследователь ни в коем случае не должен подходить к своему об'екту, как tabula rasa. Без определенных методологических убеждений никто не может даже и претендовать серьезно на роль исследователя. Но при наличии четких методологических убеждений всякий изучающий чужую систему мыслей должен уметь на время отдаться ей, должен суметь добросовестно проследить все ее изгибы, должен уметь уловить ее логическое движение, ее развитие. Ни в коем случае нельзя подходить к своему предмету с заранее приготовленной схемой ее оценки. Заранее приготовленная схема лишает возможности правильного **чтения** материала. Исследователь со схемой не будет искать смысла текста, он будет подгонять текст к своей схеме. Б. Козьмин несомненно подошел к чтению Писарева с такой заранее заготовленной и окостенелой схемой. Он подошел к Писареву с **задачей** доказать, что Писарев был трезвым и последовательным по своему времени революционным тактиком, что его социализм развивался в сто-

[1] См. журнал «Литература и марксизм», кн. 4, 5, 6, 1929 г.

рону научного социализма. В результате настойчивого стремления добиться удовлетворительного разрешения поставленной себе задачи Б. Козьмин потерял способность улавливать точный смысл читаемого текста. Вот доказательства:

В своей книжке «Радикальный разночинец Д. И. Писарев» я сравнивал две статьи Писарева: «Генрих Гейне» и «Борьба за жизнь». Вывод, к которому я пришел в итоге сравнения, был следующий: в статье о Гейне Писарев рекомендовал революционные методы борьбы со старым порядком, в статье же о «Преступлении и наказании» Достоевского («Борьба за жизнь») Писарев ставил под сомнение самую возможность морально оправдать применение насильственных средств борьбы. Б. Козьмин считает, что в обеих статьях Писарев занимает одну и ту же позицию по отношению к революции. В доказательство он приводит следующее место из статьи его о Генрихе Гейне:

> Чтобы судить о каком-нибудь перевороте, надо всегда сравнивать то, что было накануне борьбы, с тем, что получилось на другой день после победы. Тогда можно будет решить, законен ли данный переворот в своей исходной точке и плодотворен ли он в своих результатах. Переворот, вырванный из своей естественной связи с ближайшим прошедшим и ближайшим будущим, оказывается просто грязной свалкой, которою может восхищаться только пустоголовый батальонный живописец. Относясь с почтительным сочувствием к какому-нибудь перевороту, мыслящие защитники народных интересов поступают таким образом вовсе не из любви к шумным демонстрациям и занимательным потасовкам, а только из любви к тем бедным людям, которым после переворота сделалось немного легче жить на свете. Если бы это облегчение могло быть достигнуто путем мирного преобразования, то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы переворот как ненужную трату физических и нравственных сил [2].

Так как в статье своей о Достоевском Писарев, доказывая необходимость сделать все возможное для избежания «кровопролития», все же считает неизбежным в известные моменты народной жизни «кровопролития» (т. е. революции), то Козьмин с торжеством и констатирует неизменность отношения Писарева к проблеме революции. Между тем, если бы Б. Козьмин не был загипнотизирован своей предвзятой мыслью о постоянстве тактической линии Писарева, он бы заметил весьма су-

[2] «Литература и марксизм», кн. 4, стр. 71.

щественную разницу между статьей о Гейне и статьей о Достоевском. Конечно, в обеих статьях мы имеем дело с одним и тем же лицом, с одной и той же теоретической концепцией. В обоих случаях Писарев считает, с одной стороны, желательным мирный путь развития, а с другой — возможность в некоторых случаях насильственного разрешения общественных противоречий. Но как Писарев строит свою тактику, исходя из этой своей общей абстрактной предпосылки? В чем центр аргументации в обеих названных нами статьях Писарева? Нетрудно доказать, что Писарев в статье о Гейне борется с несерьезным отношением к революционной деятельности. Он оправдывает революционные действия, несмотря на то, что они вблизи производят впечатление грязной свалки, несмотря на то, что, абстрактно рассуждая, был бы лучше мирный исход событий. Раз насильственное действие стало неизбежным, то «всякое другое поведение было бы с вашей стороны низкою трусостью и подлою изменой в отношении к тем лицам, которые имели полное право рассчитывать на вашу защиту». В статье же о Достоевском Писарев полемизирует с возможностью оправдать чем-либо применение насилия в общественных делах. Правда, может случиться, что, несмотря на усилия руководителей общественной борьбы, стихийное и слепое движение масс сделает столкновение неизбежным. Тогда руководители должны стать во главе недовольных для того, чтобы возможно скорее приостановить конфликт:

> Когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие... ибо... те необыкновенные люди, которые всего больше желают и умеют оставаться верными своему естественному назначению, т. е. приносить людям как можно больше пользы,— должны только добывать новые истины, доводить их до всеобщего сведения, защищать их против старых заблуждений и убеждать людей в необходимости перестраивать жизнь сообразно с новыми истинами. Идя по этому пути, необыкновенные люди никак не могут сделаться страшными кровопроливцами; уклоняясь от этого пути и призывая насильственные меры на помощь к таким идеям, которые могут и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убедительности, необыкновенные люди в значительной степени перестают быть необыкновенными и начинают обнаруживать ту нетерпеливую близорукость, которой отличаются все их дюжинные современники. Решаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди изменяют своему естественному назначению, компрометируют свою идею, дискредитируют ее и замедляют ее успехи именно теми

насильственными мерами, которыми они стараются доставить ей быстроту и верное торжество [3].

В противоположность мнению Козьмина позиция Писарева в вопросах тактики была подвержена колебаниям. Это убедительно доказывается сравнением статей о Гейне и о Достоевском именно потому, что в этих статьях явственно проявляет себя одно и то же направление общественной мысли. Колебание это вполне удовлетворительно об'ясняется социальной природой самого Писарева, бывшего идеологом городской мелкой буржуазии. Колебание это подтверждается движением масс, пусть не очень многочисленных еще тогда, втянутых в движение шестидесятых годов. Проверять же движение идей движением масс настойчиво рекомендовал такой знаток исторического материализма, как Ленин.

Я в своей работе не цитировал приведенных Козьминым мест из статьи Писарева о Генрихе Гейне. Так как в павленковском издании места эти были выброшены в угоду цензуре, то Козьмин пытается изобразить меня в качестве «жертвы царской цензуры». Козьмин во имя красного словца погрешил против истины: он мою работу читал и знает поэтому, что издание сочинений Писарева шестидесятых годов было мне известно. На самом деле же он показал, что Писарева он умеет читать хуже царского цензора. Последний не зря выкинул абзац, о котором идет речь, из статьи о Генрихе Гейне и оставил аналогичный ему по мнению Козьмина текст в «Борьбе за жизнь». В первом случае он выкидывал призыв к революции, во втором случае он оставлял аргументацию против революции. Плененный своей предвзятой мыслью Козьмин за формально близкими цитатами проглядел смысл и содержание читанных им статей. Отсюда вытекает первое наше методологическое замечание — самое простое, самое элементарное по своему значению: прежде чем оценивать и об'яснять, учись понимать текст.

II

Проблема влияний имеет очень большое и методологическое и фактическое значение при изучении идеологий. Сравнение — весьма значительный момент в исследовании. Но идеологические концепции нельзя сопоставлять так, как партнеры сопоставляют кости при игре в домино. Кости в домино разрознены, закончены и сопоставимы по чисто фор-

[3] Соч. Писарева, т. VI, стр. 319.

мальным признакам: костяшка с шестью точками вполне, без оговорок и без об'яснений сопоставима с другой костяшкой с такими же шестью точками. Не так обстоит дело при изучении идеологий. Идеологии не костяшки в пустой коробке, они не складываются в механическом произвольном порядке, они живут в сознании классов — и в порядке их чередования сказывается или преемственность классов в истории или разные возрасты одного и того же класса. Каждая идеологическая система подчинена историческим закономерностям, каждая из них занимает строго определенное место в истории. Поэтому чисто формальное сопоставление идеологических концепций для определения их характера еще ничего не решает. Хронология тут имеет очень большое значение. Человек на заре своей жизни и на закате дней своих плохо ходит. Но в первом случае мы имеем дело с ребенком, а во втором — со стариком. Козьмин же не хочет считаться с различием, существующим между жизнью идеологических систем и костями в игре. Надежды Писарева на обновление страны при помощи просвещенных предпринимателей мы об'ясняли буржуазным оттенком его социальных воззрений. Козьмин же думает, что роль, отводимая Писаревым просвещенным предпринимателям в его социальных планах, не затрагивает социалистической последовательности убеждений Писарева, ибо эта ошибка разделялась большинством социалистов его времени. В частности, писаревское понимание роли просвещенных предпринимателей может быть об'яснено вполне удовлетворительно влиянием Сен-Симона и сен-симонистов. Однако аргументы т. Козьмина решали бы вопрос в его пользу только в том случае, если бы деятельность Писарева падала на 30-е или 40-е годы. Может быть, он бы в самом деле оказался тогда социалистом сен-симонистского толка. Но ведь расцвет деятельности Писарева приходится на вторую половину шестидесятых годов. Писарев начинал свою карьеру журналиста на плечах Чернышевского, его влияние сменяет влияние Чернышевского, а Чернышевской-то антагонистичность классов капиталистического общества понимал прекрасно. Мало того, и Писарев и Чернышевский, оба сознавали, что между их убеждениями имеется существенное различие. Козьмин сам высказывает предположение, что «Что делать?» возможно было полемически направлено и против Писарева. Во всяком случае Базаров, любимец Писарева, в романе Чернышевского высмеивается самым несомненным образом. Нет сомнения, что Писарев отличался от Чернышевского не влево, а вправо. Вот в таких обстоятельствах возвеличение Писаревым капиталистического грюндерства,

пусть даже позаимствованное у Сен-Симона, приобретает уже совершенно иное значение. Оно окрашивается явно в цвета апологетические по отношению к капитализму. Далее, Писарев был вовсе не изолированной костяшкой, которую можно рассматривать вне времени и пространства. Он имел единомышленников, он имел соратников. Одним из самых значительных его соратников был Варфоломей Зайцев. В. Зайцев, умерший значительно позже Писарева, также не остался социалистом, хотя и считал себя таковым одно время. Он приветствовал террористическую борьбу «Народной воли», но социалистической программы последней он не разделял. В. Зайцев стал «либералом с бомбой» без всяких социалистических иллюзий. Если бы Козьмин взял на себя труд проследить эволюцию Зайцева, то он увидел бы, что результат, к которому пришел Зайцев, обосновывался вполне писаревскими аргументами. Таким образом, рассмотрение вопроса во времени и в пространстве, конкретное, а не абстрактное рассмотрение вопроса, приводит нас к выводу, что в своих общественных воззрениях Писарев был идеологом не столько социалистического, сколько капиталистического порядка.

III

Б. П. Козьмин дает идейный генезис социальных воззрений Писарева. Повторяем, по замыслу своему это весьма благодарная задача. Но то, что делаешь, делай как следует. В переводе на методологический язык это значит — прослеживай изучаемую проблему во всех ее связях и опосредованиях. Совет хороший, и исходит он от человека, к мнению которого следует прислушиваться со вниманием — от В. И. Ленина. Меж тем Козьмин не хочет следовать этому совету. Он прослеживает связи социальных воззрений Писарева только с системами социалистов-утопистов. В результате анализ получается неполным, односторонним, неистинным, ибо на образование социальных воззрений Писарева повлияли не только социалисты-утописты, но и Фохт и Дарвин. Опираясь на взгляды Фохта, Писарев приходил к выводу, что социальному равенству положен некий предел природой человека. Опираясь на воззрения Дарвина, Писарев считал, что и в общественной жизни слабые осуждены на покорение сильным. Мне не хочется утомлять читателя, обременяя свои замечания цитатами. Для всякого, занимавшегося Писаревым, общеизвестно, что и Фохт и Дарвин — оба повлияли на образование социальной концепции Писарева.

Достаточно сослаться на такую известную статью нашего публициста, как «Посмотрим». В ней Писарев, вслед за Зайцевым, доказывает, что хотя для негров и нужно добиваться равенства перед законом, но что по самой природе своей они осуждены на подчинение белым, на эксплоатацию со стороны белых. Тогда, когда Писарев был социалистом, он писал, что физиологические различия не могут помешать социальному равенству. Воззрения социалистов оттесняли в его сознании воззрения Фохта на задний план. Когда Писарев вновь перестал быть социалистом, Дарвин пришел на помощь Фохту, и Писарев стал проповедывать, что нечего прать против рожна, нечего стремиться к неосуществимому, к социальному равенству, а нужно самый факт естественного неравенства людей обратить на пользу человечеству. Но такая точка зрения явно апологетична по отношению к капитализму. Фохтианизм и дарвинизм в социологии буржуазны по своему происхождению и буржуазны по своему значению. Если бы т. Козьмин исследовал всестронне, а не с одной только любезной ему стороны, вопрос о генезисе социальных воззрений Писарева, он бы стал осторожней относиться к социализму Писарева. Он увидел бы, что Писарев в своем отношении к социализму прошел ряд колебаний; начав не как социалист, Писарев на время стал социалистом, а потом перестал им быть, несмотря на нарастание демократических настроений в его взглядах. Социализм нельзя считать за доминанту в социальных воззрениях Писарева.

IV

Самая, пожалуй, главная беда т. Козьмина состоит в том, что он верит словам, не пытаясь обнаружить их социального смысла. Привычные нам, марксистам, слова встречаются и у Писарева в филологически тождественном виде. Но слово, имеющее одно значение у нас, сплошь да рядом содержит в себе совершенно иной смысл в тексте Писарева писанном свыше шестидесяти лет назад. А меж тем внимательное чтение может помочь раскрыть то конкретное содержание, которое кроется за гипнотизирующим Б. Козьмина современным словом. Вот т. Козьмин прочел в статье Писарева «Школа и жизнь», что общественные порядки должны перестроить «сами работники». «Сами работники» — это звучит вполне по-марксистски, и Козьмин спешит вывести следующее заключение — «не на разумности и добрых чувствах капиталистов Писарев начинает строить надежды на разрешение социальной проблемы,

а на активности рабочего класса...»[4] Но как может приписывать Б. Козьмин Писареву ясный взгляд на активность рабочего класса, если Писарев в этой же статье не умеет еще отличить рабочего от ремесленника, фабричного труда от ручного ремесла. Это — во-первых. А, во-вторых, мысль, которую развивает Писарев в рассматриваемой статье, сводится к следующему: для того, чтобы правильно разрешить вопрос о разумной организации труда, необходимо «совокупное действие мысли и рабочей силы». Как добиться этого совокупного действия? А очень просто — обучите людей мысли какому-либо ремеслу, и вы создадите все необходимые условия для него. «Каждый член образованного сословия» должен выносить из школы «вместе с умственным развитием и с научными сведениями основательное и совершенное практическое знание какого-нибудь ручного ремесла»[5]. Вслед за Руссо Писарев рекомендует изучение столярного ремесла. А вот та самая формулировка, которая привела Б. П. Козьмина к выводу, что Писарев стал ориентироваться на активность самого рабочего класса. Рабочий вопрос может быть разрешен «только самими работниками, когда к их рабочей силе, практической сметливости и трудолюбию присоединятся ясное понимание междучеловеческих отношений и умение возвышаться от единичных наблюдений до общих выводов и широких умозаключений. Поэтому одна из важнейших задач настоящего времени состоит в том, чтобы совместить в одних и тех же личностях научное развитие и физический труд, между которыми лежала до сих пор широкая и непроходимая бездна. Только такие люди, которые умеют в одно и то же время работать и мыслить, окажутся способными разрешить вопрос о разумной организации труда, вопрос, название которого показывает ясно, что тут необходимо совокупное действие мысли и рабочей силы».

России неизбежно придется пройти через этап капиталистического развития. Писарев сознает это вполне твердо, вполне четко. Понимает он также, что придет к нам капитализм в своих антагонистических формах; разница между Писаревым и Чернышевским в этом пункте заключается однако в том, что Чернышевский видел выход из противоречий капитализма в социализм, а Писарев мечтал о гармонизации капитализма знанием.

---

[4] «Литература и марксизм», кн. 5, стр. 145, 1929.
[5] Соч. Писарева, т. IV, стр. 577.

Благодаря младенческому состоянию нашей промышленности,— пишет он далее,— рабочий вопрос находится у нас в зародыше и вероятно долго еще не примет в русской жизни тех колоссальных и грозных размеров, которые характеризуют его в Западной Европе; но с нашей стороны было бы очень неосновательно думать, что эта чаша пройдет мимо нас и что наша общественная жизнь в своем дальнейшем развитии никогда не наткнется на эту мудрую задачу (там же).

В ожидании прихода в Россию капитализма Писарев рекомендует современникам запасаться материалами для разрешения рабочего вопроса.

К числу этих материалов должно отнести организацию прочной нравственной и умственной связи между лабораторией ученого специалиста и мастерской простого ремесленника. Сближение образованного общества с черным народом, то сближение, о котором так уморительно и бестолково рассуждали наши умолкнувшие почвенники, конечно необходимо, но только оно должно состоять не в тупом уважении к народной мудрости, которую совершенно справедливо осмеивает и отвергает положительная наука, а в разумной, полной, искренней и деятельной реабилитации физического труда, которому все мы на словах свидетельствуем наше нижайшее почтение и от которого однако на самом деле все мы тщательно отстраняемся сами и отстраняем наших возлюбленных детей. Если только физический труд будет наравне с научными занятиями вменен в обязанность воспитанникам всех учебных заведений, то можно будет ручаться за то, что из этих заведений будут выходить такие люди, которые легко и свободно будут сближаться с простым народом и на которых народ не будет смотреть, как на чужих людей, неспособных сознательно сочувствовать его интересам. Простой народ всегда и везде делит все человечество на таких людей, которые работают сами, и на таких...

Цитата велика, но зато из нее совершенно четко вырисовывается, как понимает Писарев разрешение рабочего вопроса «самими работниками, когда к их рабочей силе... присоединится ясное понимание». Ничего иного кроме нового варианта обычной интерпретации Писаревым проблемы интеллигенции и масс мы и здесь не видим. Сами работники — это не только рабочие, но и ремесленники (Писарев, как это ясно по контексту, не отличает ремесленников от рабочих, о чем мы уже говорили): в союзе с пониманием — это значит под руководством

ученого специалиста, а условие доверия масс к своим вожакам — изучение образованным человеком, реалистом, также и простого ремесла. Как же не сказать после этого, что т. Козьмин поддается магии слов. Он поверил двум словам — сами работники — и не стал вдумываться не только в смысл статьи, но и в смысл абзаца, из которого они были взяты, не стал и слушать, как эти, сами работники, выглядят на деле.

Ленин считал, что наивысшая проверка идеологий дается движением масс в революции. Крестьянское движение 1905 г. окончательно подтвердило лжесоциалистический характер идеологии народничества. История не дала нам возможности такой же безукоризненной проверки характера мировоззрения Писарева. Писаревщина не дожила до проверки массовым движением. Слишком, как мы увидим ниже, переходный характер носила пропаганда Писарева, чтобы она могла утвердиться на долгий срок в умах. Но за неимением этого самого верного критерия социальной сущности идеологической концепции Писарева мы должны все же приложить все усилия, чтобы определить ее истиный смысл. Тут опять нам на помощь приходит мудрое правило Ленина: слова проверяй делами. А там, где по историческим условиям этих дел не могло быть,— ищи, поелику возможно, за словами конкретного плана дел. Рассмотрение конкретных планов Писарева, предлагаемых им в статье «Школа и жизнь», показывает, что за словами «сами работники», толкуемыми Козьминым как марксистское — освобождение рабочих есть дело самих рабочих — кроется идея обыкновеннейшей радикально-интеллигентской опеки над рабочими.

V

Для Б. Козьмина идеологическая концепция Писарева — историческая случайность, мало об'яснимая русскими классовыми отношениями. Свой поворот к «научному социализму» Писарев, никогда не бывший на Западе, сидевший в русской тюрьме, совершал под воздействием западноевропейского рабочего движения влиявшего на него... через статьи в русских журналах о западно-европейском рабочем классе.

К русской крестьянской проблеме, к основному противоречию общественных отношений в России, к противоречию между крестьянством и крепостниками Писарев никакого отношения не имел, ибо «по экономическому своему положению наш «мыслящий пролетарий» чувствовал (необыкновенно точное слово!) себя гораздо ближе к западному фабрично-заводскому пролетарию, чем к русскому крестьянину. На «смычку» с пер-

вым ему было итти гораздо легче, чем со вторым»[6], но так как в самой России рабочего класса не было, то идеология Писарева не могла прорасти в русскую почву. Этим и об'ясняет Козьмин эпизодичность влияния Писарева в истории русской общественной мысли.

Меж тем кратковременная, но вовсе не бесследно затерявшаяся деятельность Писарева об'ясняется вполне закономерно теми классовыми отношениями, в среде которых он действовал, а не теми, о которых он читал. Влияние западноевропейских мыслителей сыграло огромную роль в формировании идеологий в России, но оно никогда не отменяло действия классовых противоречий в самой России. Всякий, изучающий деятельность того или иного идеолога, должен уметь понять, какое место он занимает по отношению к центральному социальному конфликту в соответствующее время и в соответствующей стране. В России шестидесятых годов таким центральным конфликтом был конфликт крестьянства с крепостнически-самодержавным строем. На очереди стала буржуазная революция в стране. Либералы пытались разрешить этот конфликт в пользу аграрной и промышленной буржуазии путем соглашения с крепостниками. Крестьянство пыталось решить его в свою пользу — во имя американского пути развития капитализма, во имя возможно более полной демократии. Именно поэтому 60-е гг. являются истоком двух линий в буржуазной революции в России, либерально-буржуазной и крестьянско-демократической. Вследствие некоторых особенностей исторического развития в России, о которых я писал в своей работе о Писареве, наша крестьянская демократия заимствовала свой идеологический костюм не из прошлого, не из библии, не из преданий античных республик, а из будущего. Идеология крестьянской революции в России была социалистической, что не мешало буржуазному характеру ее сути. Ничего непонятного в таком расхождении сознания и классовой сути нет, ибо, именно исходя из него, Маркс, Энгельс и Ленин и рекомендовали — не суди об эпохе по ее сознанию, умей проверять об'ективное классовое содержание суб'ективного момента — сознания. Давление нараставшей крестьянской революции будило к политической жизни и мелкую буржуазию в городе, идеологом которой и был Писарев (а не идеологом просто интеллигенции, «мыслящих пролетариев», как это рисуется Козьмину). Сочувствие к крестьянскому движению, желание и способность стать на крестьянскую сторону баррикады против и

[6] «Литература и марксизм», кн. 6, стр. 45.

крепостников и либералов и делали Писарева восприимчивым к социализму, «заразу» которого распространяла в России неразрешенность проблемы крестьянской революции. «В литературных произведениях Писарева,— наивно пишет Козьмин,— мы не находим никаких намеков на стремление наладить смычку с крестьянским движением», не понимая, что тем самым он сдувает как карточный домик все свои утверждения о последовательной революционности и архисоциалистичности Писарева. Этим своим утверждением Козьмин перемещает Писарева на либеральную сторону баррикады, ибо в революционном конфликте шестидесятых годов только эти две стороны и существовали, о чем многократно писал Ленин, о чем смотри хотя бы в той статье последнего, которую я цитировал в своей работе о Писареве [7]. Козьмин опять удовлетворяется суждением по взглядам, по литературным произведениям, не проверяя взглядов реальным соотношением классов, движением масс. Козьмин путает вопрос о союзе двух классов — городской мелкой буржуазии с крестьянством — в революции с вопросом о переходе Писарева со стороны городской мелкой буржуазии на сторону крестьянства. Мне нигде не приходилось утверждать, что Писарев стал идеологом крестьянства, Козьмину нигде не удалось опровергнуть что Писарев блокировался против общих врагов с Чернышевским, лучшим вождем революционного крестьянства в России, что Писарев был за поддержку такого разрешения центрального общественного конфликта 60-х годов, при котором Россия пошла бы по американскому, а не по прусскому пути развития.

Крестьянская революция не удалась. Начался отлив крестьянского движения. В итоге «реформ» 60-х гг. почва под ногами правящих классов стала менее накаленной. Ослабление революционного давления крестьянства вызвало отлив вправо и в рядах разбуженных городских мелких буржуа. В этих колебаниях городской мелкой буржуазии в России шестидесятых годов дан ключ к об'яснению колебаний Писарева. Пришедшие было в движение ряды мелкой буржуазии подались вправо — стал праветь и ее идеолог Писарев. Стыка между городским крылом движения и крестьянским не произошло. Поправевшая мелкая буржуазия стала искать выхода из кризиса 60-х гг. уже на свой собственный салтык. Выразителем этого стремления и стал Писарев в своей про-

[7] «Радикальный разночинец Д. И. Писарев», стр. 52; название цитированной статьи Ленина — «Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция», т. XI, ч. 2 (1 изд.).

поведи культурного капитализма, в водворении которого одинаково будто бы были заинтересованы все классы русского общества. Либералом Писарев не стал,— ибо радикальная, революционная мелкая буржуазия в своих требованиях преобразования феодально-крепостнического общества всегда идет дальше крупной буржуазии, даже относительно революционной. Возможность новой эволюции влево для Писарева не была закрыта. Но русская мелкая буржуазия городов не была настолько сильна, как аналогичный класс во Франции, сыгравший свою всемирно-историческую роль в 1793 г. Из попытки мелкой буржуазии самой возглавить революционное движение в России ничего не могло выйти. Главнейшие революционные возможности в России таились тогда в крестьянстве. Как только это с достаточной ясностью определилось — гегемония в общественной мысли в России перешла от Писарева к народничеству.

Общий вывод из этого нашего замечания: нельзя ничего понять в идеологической жизни России XIX в. без выяснения отношения каждого идеолога к центральному социальному конфликту в России XIX в.— конфликту крестьянства с крепостничеством. Без этого нельзя понять не только Писарева, нельзя понять и Ленина: как известно, разница между Лениным и Плехановым, между большевиками и меньшевиками, заключалась в значительной степени в их отношении к крестьянскому движению, хотя никто из них не был идеологом крестьянства.

VI

Согласно выводам Б. Козьмина мировоззрение Писарева было случайным эпизодом в истории общественной мысли в России. Пропаганда Писарова после кратковременного успеха была вытеснена ширившимся народничеством. Мировоззрение Писарева, инфицированное западным рабочим движением и западными социалистическими теориями, не имело в дальнейшем последователей. Это не совсем верно. Варфоломей Зайцев, умерший в 1882 г., был несомненным последователем и продолжателем Писарева, самое же главное заключается однако в следующем: верно, что Писарев имел больше читателей и почитателей, чем последователей, но неверно, что Писарев стоит особняком от основных путей развития общественной мысли в России. Пропаганда Писарева — очень важный момент в подготовлении торжества народничества, несмотря на то, что Писарев был идеологом не крестьянства, а городской мелкой буржуазии. Не может этого понять Козьмин потому, что он не

прослеживает, куда росла, куда развивалась идеология Писарева. А меж тем ни один исследователь не может не задавать себе этих вопросов. Смена идей зависит от этапов в развитии и в смене классов на исторической сцене. Но идеи не растут на пустом месте. Они имеют предшественников, как имеют и врагов. Марксизм вырос из буржуазной науки, несмотря на то, что он является теорией пролетариата. Этот пример поможет нам понять, какую роль сыграл Писарев в подготовке гегемонии народничества. До Писарева в истории общественной мысли в России господствовало мировоззрение Чернышевского. Чернышевский был вождем крестьянства, но теория его не была народнической. Как это получалось, мы надеемся об'яснить в другом месте. Пока нам достаточно указать на то, что Ленин, всегда именовавший социализм народников реакционным, иллюзорным социализмом, лжесоциализмом, никогда, ни на минуту не сомневался в последовательности социалистических убеждений Чернышевского. Пропаганда же Писарева вела к снижению теоретического уровня общественной мысли в России по сравнению с тем, которого она достигла при Чернышевском. Писарев вел русскую общественную мысль от материализма Чернышевского — через вульгарный материализм — к позитивизму и агностицизму. Писарев терял то не марксистское, но весьма высокое представление о роли масс и классов в революции, которое было у Чернышевского, оставляя действующим агентом истории лишь разумное меньшинство, лишь реалистов, лишь интеллигенцию. Писарев заменял социализм Чернышевского социалистическими словами, за которыми крылось буржуазное содержание, и т. д. Но ведь все эти черты были в наиболее выпуклой форме развиты народничеством. Народничество было позитивистично и агностично, народничество считало движущей силой истории интеллигенцию, народничество прикрывало социалистической фразеологией свой более или менее последовательный буржуазный демократизм и т. д. Писарев был фигурой переходной. Не будучи народником, он был станцией на пути от Чернышевского к народничеству. Это законное место идеологии Писарева в истории общественной мысли в России.

На этом мы заканчиваем свои замечания. Б. Козьмин прекрасно знает факты и материалы, но он несколько беспечен по части теории. А такая беспечность не проходит безнаказанной. Механические исходные пункты обязательно приводят к ошибкам в оценке лиц, фактов и идей. История идеологий может быть успешно понята лишь при помощи последовательного диалектического метода.

А. Ш. Гурштейн

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ОГАРЕВА

(О литературных взглядах Огарева)

В том ярком, богатом и во всяком случае колоритном явлении, которое носит имя «Огарев», до сих пор было привычно расчленять собственно две стороны: с одной стороны, мы выделяли самую личность Огарева, его чрезвычайно богатую душевную и умственную организацию, пленявшую силой своего обаяния как современников, так и последующих исследователей русской культуры и общественности первой половины XIX столетия; с другой стороны, наше сознание отмечало своеобразную лирику Огарева. Его лирика в свое время встретила восторженную оценку таких различных людей, как Аполлон Григорьев, Василий Боткин и Чернышевский, который писал, что имя Огарева «позабыто... будет разве тогда, когда забудется наш язык»[1], а уже в начале нашего столетия к ней подошел с любовной вдумчивостью рыцарь «медленного чтения», покойный Мих. Осип. Гершензон. Но помимо лирики вся прочая литературная деятельность Огарева, его деятельность как публициста оставалась совершенно затененной. В свете могучего герценовского публицистического таланта совершенно потухал публицист Огарев, представлявшийся лишь бледным спутником Герцена.

Этот строгий приговор является почти общим мнением всех писавших об Огареве. С. А. Венгеров называет печатавшиеся в «Колоколе» статьи Огарева на экономические темы «вялыми» и говорит, что они «ничего не прибавляли к влиянию газеты Герцена»[2]. Это же самое мнение, высказанное в 1897 г., С. Венгеров буквально повторяет и в 1916 г.[3] С. А. Венгерову вторит В. Мияковский, который говорит

---

[1] «Современник», т. LIX, 1856.

[2] Энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона, XXI-а, СПБ., 1897, стр. 687.

[3] Новый энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона, XXIX, 1916, стр. 231.

что статьи Огарева «не представляют ничего яркого и оригинального»[4]. «Расплывчатыми и тяжелыми» называет статьи Огарева также Н. М. Мендельсон[5]. И к тем же выводам приходит и М. Неведомский: «Его (Огарева) публицистика,— пишет он,— «серовата», не богата ни аргументацией, ни пафосом»[6]. И лишь на страницах «Русского богатства» прозвучало известное признание публицистической деятельности Огарева. Здесь в статье «Огарев как политический деятель и публицист»[7] Н. С. Русанов писал: «У Огарева была и своя творческая индивидуальность, не только как у поэта, но и как у писателя-публициста». Правда, эта «реабилитация» Огарева-публициста была продиктована «Русскому богатству», органу модернизованного народничества, соображениями, так сказать, родственного порядка, стремлением украсить свою «родословную» за счет некоторых ранне-народнических построений Огарева[8].

Нас интересует не вся публицистическая деятельность Огарева как таковая, а лишь та ее часть, которая непосредственно соприкасается с литературной критикой. Правда, если не считать небольшой статьи о Рылееве, напечатанной Огаревым при жизни, и двух отрывков, появившихся в печати лишь в 1913 г. в связи с исполнившимся столетием со дня рождения Огарева, мы в сущности имеем у него лишь одну большую статью литературно-критического характера[9]. Но статья эта представляет по нашему мнению как по своему содержанию, так и по внешним своим достоинствам исключительный интерес. Это — «предисловие» Огарева к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (Отдел первый, Стихотворения, Часть первая), Лондон, 1861. Сборник этот включал «потаенные», т. е. вследствие цензурных условий не могшие появиться в России, стихотворения разных авторов первой половины века, преимущественно политического характера. Здесь нашли место также некоторые стихотворения эротического характера, которые со-

[4] Энциклопедический словарь Гранат, 7 изд., XXX, 492.

[5] См. его статью об О. в «Истории русской литературы XIX в.» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. II.

[6] К столетней годовщине Н. П. Огарева, «Наша заря», 1913, № 10—11, стр. 107.

[7] «Русское богатство», 1913, № 11, см. стр. 385.

[8] П. Н. Сакулин в своей работе «Русская литература и социализм» (М. 1922) говорит о «самостоятельном интересе» Огарева «в частности по отношению к проблеме социализма» (см. стр. 137), но оперирует по преимуществу поэтическим творчеством Огарева.

[9] Сюда же примыкает чрезвычайно яркая статья Огарева «Памяти художника (А. Иванова)», напечатанная в «Полярной звезде» на 1859 год», Лондон, 1859; здесь замечательны высказывания Огарева об общественной значимости искусства вообще.

ставитель включил потому, что они также проникнуты «вольным духом». Огарев писал по этому поводу в своем предисловии: «...как ни странно встретить в одной книге поэзию гражданских стремлений и поэзию неприличную, а они связаны больше, чем кажется. В сущности они ветви одного дерева, и в каждой неприличной эпиграмме вы найдете политическую пощечину» (XLIX—L). Названный сборник долго сохранял свое значение для характеристики известных течений русской поэзии прошлого столетия; в частности, здесь была помещена пушкинская «Гавриилиада».

Предпосланное тексту стихотворений обширное «предисловие» Огарева (кстати сказать, оно цитируется несколькими исследователями: М. О. Гершензоном, Н. О. Лернером и др., но никто из них не подарил ему пристального внимания) дает в связи с помещенным в сборнике материалом обзор русской поэзии за первую половину века. Это «предисловие» обнаруживает тонкое поэтическое чутье, убежденный общественный пафос, дает ряд прекраснейших оценок, как например поэзии Пушкина; но помимо этого оно чрезвычайно интересно с точки зрения теоретико-эстетических посылок, легших в основание высказываний Огарева. Ценность этой статьи совершенно не вяжется с той привычной квалификацией («вялые», «расплывчатые», «тяжелые»), которую мы встречаем у исследователей Огарева в отношении его публицистических статей.

В другом месте, в отрывке из статьи, посвященной одному из любимейших поэтов Огарева Лермонтову и относящейся, по словам Н. О. Лернера, к концу 60-х или началу 70-х гг. (см. «С утра до ночи», отрывок из начатой статьи Н. П. Огарева о Лермонтове: «Северные записки», 1913, III, 116—119; тексту предпослана вступительная заметка Н. Лернера), Огарев писал: «Впрочем, я не намерен вдаваться в литературные рассуждения, меня случайное занятие чтением стихов приводит не к литературным, но с ними весьма соприкосновенным (подчеркнуто мной.— *А. Г.*) вопросам» (стр. 119). Это ударение не на литературе как таковой, а на «весьма соприкосновенных с литературой вопросах чрезвычайно характерно для Огарева и других его современников родственного круга. И говоря дальше о Лермонтове, Огарев ставит своей задачей определить, «что же это была за среда, которая сгубила жизнь такого сильного человека, быть может, самого сильного человека в русской поэзии, не исключая Пушкина?» (стр 119). Вот этот публицистический, революционно-публицистический тон всегда окрашивает литературные выступления Огарева, и, определяя

жанр разбираемого «предисловия» Огарева, мы должны как наиболее характерный его признак прежде всего назвать именно эту революционную публицистичность. Но в этом смысле Огарев не был конечно зачинателем в русской литературе: жанр этот имел уже свои образцы на русской литературной почве, и в качестве ближайшего и наиболее родственного Огареву образца в этом отношении мы должны назвать работу Герцена «Du développement des. rèvolutionnaires en Russie» («О развитии революционных идей в России»), вышедшую на французском языке в 1851 г.[10].

Содержанием разбираемого нами «Предисловия» Огарева является, как мы уже указывали, обзор русской литературы (по преимуществу поэзии) первой половины XIX столетия; обзор этот дан в связи с развитием революционных стремлений в русском обществе, манифестацией которых и является литературная деятельность соответственных общественных групп. Мы здесь не будем излагать весь ход мыслей автора, потому что не это является сейчас нашей задачей. Наша задача конструировать теоретико-эстетические положения Огарева, которые, кстати сказать, даны в «Предисловии» ввиде достаточно четких формулировок[11].

Еще в наброске статьи, относящемся повидимому к началу 50-х гг.[12], Огарев дает следующую характеристику господствовавшей у нас одно время критике:

> Критика прежних годов,— пишет Огарев,—росла на германской почве, на почве эстетических и иных теорий, под которые надо было подогнуть (подогнать? — *А. Г.*) литературные произведения, чтоб найти их хорошими. Она была похожа, хотя принимала на себя более привлекательный колорит, на музыкальную критику, также германскую, которая отвергла (отвергала? — *А. Г.*) все, что было не фуга или по крайней мере не совершенно ученый контрапункт.

---

[10] Изложению и оценке названной работы Герцена посвящена глава в брошюре М. Гершензона—«Социально-политические взгляды А. И. Герцена», М., 1906.

[11] Отметим характерную деталь: когда в 1834 г. Герцен с друзьями затевали издание собственного журнала и уже разработали подробный план издания, отдел теории литературы в журнале должен был — по означенному плану — быть передан Огареву (см. Мих. Лемке—«Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей», «Мир божий», 1906, I, см. стр. 69).

[12] См. «Неизданные материалы о Н. П. Огареве», сообщенные М. Гершензоном, «Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 206—207.

Конечно, об'ем предметов этой литературной критики был ниже об'ема предметов музыкальной критики, о которой я говорю, т. е. менее специален, но основание было то же, он было заранее составленный склад (idée préconçue — предвзятая мысль.— *А. Г.*), вследствие которого клеймилось позором все, что под него не подходит. Было время, когда Ретчер и Компания являлись идеалами критики (207). Правда, противопоставляя этой критике современную, Огарев находит, что в то время как первая все же «вызывала мысль читателя к деятельности», современная журнальная критика является «менее вычурной, но зато и менее живой, ...вялой,.. фельетонной, которая никого не увлекает и никого ничему не научает. Фельетонная критика отчасти сохранила тяжеловесные слова, но смиренно силу убеждения сменила более или менее плоским сарказмом (207).

Здесь мы имеем перед собой в известной мере литературно-критическое credo Огарева. Ратуя за «силу убеждения» и являясь врагом «фельетонной» критики с ее «более или менее плоским сарказмом», Огарев развертывает в своем «Предисловии» к «Потаенной литературе» критику поистине «большого стиля» и большого диапазона, критику de longue halerine. В то же время он еще гораздо резче ополчается против всякой метафизической эстетики, борясь, так сказать, за «расширение прав искусства», за «право» искусства на «рефлексию», на гражданско-политические мотивы, на активное участие в общественной борьбе.

Мы убеждены,— пишет Огарев в своем «Предисловии»,—что в нее (в поэтическую форму.— *А. Г.*) способно облечься всякое ж и в о е (подчеркнуто мной.—*А. Г.*) содержание. Красота женщины, колыхание моря, любовь и ненависть, философское раздумье, тоска Петрарки, подвиг Брута, восторг Галилея перед великим открытием и чувство, внесенное в скромный труд Оуэна,— все это составляет для человека поэтическое отношение к жизни» (VI). «Не будь поэзии в действии и созерцании человека, в самой рефлексии, столь гонимой немецкой эстетикой,— и надо бы исключить драму из области искусства и лирический монолог Фауста подвергнуть опале. И кто же может верить, чтобы живое стремление к общественному благу, лирическая перестройка общественных отношений и сопряженные с ними политические ненависти и восторги были недоступны для художественной формы? Дело не в невозможности поэтического слова для политического содержания, а в силе таланта самого поэта (VI—VII)...

Эти прекрасные строки о «поэзии в действии и созерцании», а еще более о «л и р и ч е с к о й п е р е с т р о й к е о б щ е с т в е н н ы х о т н о-

шений» составляют сущность огаревской эстетики, активно утверждающей общественную значимость поэзии [13].

Говоря о Рылееве и отмечая его «односторонность», Огарев называет ее «святой односторонностью» (XLII). Далее Огарев развивает свою мысль о «праве» искусства на гражданско-политические мотивы на конкретном примере Чацкого:

> Критика как-то решила, что Чацкий не живое лицо, а ходячая сатира, отвлеченное, враждебное понимание современного общества или образ мыслей самого Грибоедова. Мы не можем понять, как критика из метафизической эстетики (подчеркнуто мной.— *А. Г.*) дошла до заключения, что живое лицо может любить, сморкаться, говорить интимные вещи или обыденные пошлости, но не может иметь гражданского образа мыслей. А что же, если для этого лица существенная сторона жизни, основной тон, исключительное занятие — его гражданский образ мыслей, что же прикажете ему делать иного, как остаться живым лицом вопреки критике? (LII—LIII).

Мы видели, как Огарев ополчается против «немецкой эстетики», против «метафизической эстетики». Но одним отрицанием Огарев здесь не ограничивается, он сознает, что «приходит пора свести эстетическую критику с метафизических подмостков на живое поле истории (подчеркнуто мной.— *А. Г.*)» (XLIII)...

Приведем соответственное место из «Предисловия» Огарева:

> Перечитывая «Войнаровского» (Рылеева) [14] теперь, мы пришли к убеждению, что он и теперь также увлекателен, как был тогда, и тайна этого впечатления заключается в человечески-гражданской чистоте и доблести поэта, заменяющих самую художественность, или лучше, доведенных до художественного выражения. Нам кажется, что приходит пора свести эстетическую критику с метафизи-

---

[13] В названной нами выше статье «Памяти художника» Огарев резко восстает против «искусства для искусства». Утверждая, что «художник не может отделиться от общественной жизни и... искусство нераздельно с ее содержанием» (l. с., стр. 240), О. приходит к выводу, повторенному впоследствии Плехановым, что «сама теория искусства ради искусства могла явиться только в эпоху общественного падения» (243). Нет «действительного искусства», «отрешенного от общественных вопросов» (245); «великие мастера связаны с общественной жизнию... возникают из нее и говорят из нее» (246)... И Огарев восклицает: «Когда французская революция пела Марсельезу — не стукнул ли Гете по христианскому миру первой частью Фауста»? (246). Выступая в защиту «обличительной литературы», Огарев призывает художников к тому, чтобы они смело вносили «в искусство и общественные страдания и все элементы живой общественной жизни» (249).

[14] Творчеству же Рылеева посвящено небольшое «Предисловие» Н. Огарева к «Думам» Рылеева, издание Искандера, Лондон, 1860.

ческих подмостков на живое поле истории, перестать уклоняться от живого впечатления, навеянного поэтическим произведением, искажая это впечатление мыслью, что произведение не подходит под вечные условия искусства; пора об'яснять себе силу этого впечатления силой, с которой исторические и биографические данные вызвали в душе поэта его создание. Истинность поэмы гораздо больше основана на исторической обстановке и личности поэта, во взаимном действии которых вся искренность произведения, чем на вечных началах искусства (XLIII). ...сила впечатления, производимого теперь Войнаровским отрывками из Наливайки, нам становится ясно, когда мы приходим к пониманию, что в них пришла к слову, художественно сказалась целая внутренняя жизнь гражданского деятеля и в гармоническом стихе и в жарком чувстве, нас кроме того охватывает вся мощь традиции, не только не умершей, но полной близкой будущностью (XLV).

Вот как Огарев пытается «свести эстетическую критику с метафизических подмостков на живое поле истории», отнюдь не оставаясь в плену «об'ективного» (в кавычках) «историзма», а одушевляя этот свой «историзм» внутренним, суб'ективным, общественно-суб'ективным отношением с точки зрения своей «традиции», или, как мы б сейчас сказали, своей общественной идеологии. Огаревский «историзм» не является при этом бесплодной абстракцией. Огарев старается дать ему известное содержание, и «историзм» в «конце концов приобретает очертания «социологизма». Но чтобы ясней представить себе границы огаревского «социологизма», необходимо сделать хотя бы коротенький экскурс в область тогдашнего европейского «социологизма».

К тому времени, когда Огарев писал свое «Предисловие», тэнизм был еще в эмбриональном состоянии. Тэн, как известно, впервые сформулировал свои основные положения в знаменитом предисловии к «Истории английской литературы», вышедшей лишь в 1864 г. Но уже с самого начала XIX в., начиная с работы Сталь (M-me de Staël) «De la litterature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales»[15], появившейся на самом рубеже нового столетия и определенно поставившей вопрос о взаимном влиянии литературы и «общественных учреждений», «социологическая» струя все более властно дает себя знать в европейской критике. Я не буду напоминать тех интересных страниц Плеханова, в которых он дает характеристику этого дотэновского «социо-

[15] Я начинаю со Сталь, желая оставаться в пределах XIX в. Я знаю, что истоков исторической критики надо искать в XVIII в. у Гердера, у Монтескье.

логизма» M-me де-Сталь, Гизо и отчасти Сент-Бева[16]. В другом месте, в статье «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (см. Сочинения, XI, 302) Плеханов называет в качестве непосредственного предшественника Тэна фламандца Альфреда Микиеельса (Alfred Michiels), в 1845 г. выпустившего (на французском языке) «Историю фламандской живописи», где автор совсем четко формулирует задачи социологического исследования развития литературы и искусств. Прибавим здесь от себя, что уже в более ранних своих работах, как напр. в «Histoire des idées litéraires en France etc.» (Paris, 1842), Микиельс приближается к постановке социологических проблем в литературоведении. В главе о M-me де-Сталь Микиельс, критикуя ее книгу, считает чрезвычайно важной самую постановку задачи и говорит: «Невозможно было выбрать лучшую тему. Речь шла ни о чем меньшем, как о том, чтобы положить основания новой науки (подчеркнуто мной.—*А. Г.*)» (см. т. I, стр. 249). Вот за эту «новую науку», которая бы связала развитие литературы с общественной жизнью, и ратует Микиельс, и в конце своей работы (см. т. II, стр. 512) он говорит о новейшем этапе критики, которая «принимает рациональное направление».«Чувствительность,—говорит он,—уж не ведет ее наудачу. Она (новая критика.—*А. Г.*) осведомляется о мотивах и причинах. Изучение открывает ей ряд эстетических законов, столь же ясных, столь же определенных, столь же доказуемых, как и законы физические (une foule de lois ésthétiques aussi claires, aussi certaines, aussi démontrables pue lois physiques)».

Мы должны быть очень благодарны Плеханову за то, что он извлек из забвения имя Микиельса. Но ранний европейский «социологизм» в литературоведении (и искусствоведении) имел еще своих ярких представителей. Сам Тэн в упоминавшемся уже предисловии к «Истории английской литературы» называет в числе своих предшественников, содействовавших развитию нового взгляда на литературу, наряду со Стендалем и Сент-Бевом, также «немецких критиков». Вот этих-то «немецких критиков» не касается вовсе Плеханов[17]. Между тем среди них были такие фигуры, как Гервинус и Герман Геттнер. Правда, имя Геттнера Плеханов мимоходом упоминает в другой связи, в своей статье «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII в.

---

[16] См. «Письма без адреса, письмо первое», соч. Плеханова, XIV, 30 слл.

[17] Плеханов сближает литературные взгляды позднего Белинского лишь с тогдашней «французской критикой», совершенно минуя «социологическую» струю в современной Белинскому немецкой критике (см. Плеханов, X, 302).

с точки зрения социологии»; Плеханов говорит здесь об отсутствии у Геттнера «серьезного метода» и, называя его попытки связать французскую литературу XVIII в. с тогдашней общественной жизнью, замечает: «Он (Геттнер) большой враг материализма, о котором, мимоходом сказать, он имеет самое нелепое представление». Нам кажется, что этот плехановский приговор слишком суров и Плеханов здесь не сохраняет исторической перспективы. Дело в том что Геттнер выступает как исследователь искусства и литературы еще в конце 40-х гг., а цитируемая Плехановым работа относится к 1859 г., т. е. опять-таки к дотэновской эпохе. Мы находим в этой работе напр. главу о буржуазном искусстве и поэзии — уже это одно надо признать большим достижением для той поры. В работах Геттнера явственно сказывается связь с эстетическими воззрениями Фейербаха[18], и сам он в свое время оказал большое влияние на литературоведческую мысль. У нас в России Геттнера переводил и пропагандировал (в 60-е годы и позже) Пыпин[19].

Первая работа Геттнера — «Vorschule zur bildenden Kunst der Alten, erster Band», вышла в 1848 г. (Oldenburg, 1848). В большом «введении» к этой книге автор констатирует, что «все характерные особенности греческой жизни также отпечатлены в искусстве, в одинаковой мере как в с о д е р ж а н и и, так и ф о р м е» (11). Произведения искусства,— пишет он далее,— «по содержанию и по форме вырастают из всего чувства их определенной эпохи, вырастают бессознательно, я сказал бы, инстинктивно и являются лишь художественно-преображенной душой всей эпохи» (17—18). Здесь нам хочется подчеркнуть у Геттнера это постоянное ударение и на содержании и на форме, всегда и одинаково соподчиняющихся своей «эпохе». Назвав отдельные стили в искусстве греков и приведя к ним в качестве параллелей соответственные философские направления, Геттнер, который, кстати сказать, ратует за параллельное изучение поэзии и изобразительных искусств[20], говорит, что «эти отдельные

[18] О связи эстетических взглядов Геттнера с общей концепцией Фейербаха см. W i l h e l m B o l i n—«Ludwig Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen», Stuttgart, 1891, S. 256, flg.

[19] Пыпин напечатал большую статью о Геттнере (А. П ы п и н—«Герман Геттнер» в русском издании; Г. Г е т т н е р—«История всеобщей литературы XVIII века», том II, изд. 2, Спб., 1898, стр. I — XLVIII), в которой дал его биографию и оценку научной деятельности.

Недавно о Геттнере напомнил Анат. М а ш к и н в своих статьях «Фейербах в истории русской критики» (в сб. «Памяти Людвига Фейербаха 1872—1922», Харьков, 1922) и «Литературная методология позитивизма», «Наука на Украине», Харьков, 1922, № 4.

[20] Отметим мимоходом, что это параллельное изучение поэзии и других искусств характерно для всех ранних «социологистов»: Микиельса, Геттнера, Тэна.

стили, одновременно проникая во все искусства, являются лишь верным отражением политических, религиозных и нравственных форм развития, которые греки прошли в своей истории, и таким образом никогда не могут преодолеть границ греческого мира (nie die Schranke des Griechenthums durchbrechen können») [21]

Но в высказываниях Геттнера, относящихся к концу 40-х и к 50-м гг., получили развитие многие предпосылки, которые мы еще раньше встречаем в работах критиков-младогегельянцев, группировавшихся вокруг известных «Hallische (позднее: Deutsche) Jahrbücher für Deutsche Wissenschaft und Kunst» (1838—1843). Младогегельянство в немецкой литературной критике, представляющее для нас сейчас особенный интерес, ждет однако еще своего внимательного исследователя и интерпретатора» [22]. Из положений младогегельянцев в литературе мы лишь отметим лозунг «гармонического сочетания политики с поэзией», лозунг, отголоски которого безусловно звучат в приведенной нами выше огаревской формуле о «лирической перестройке общественных отношений».

Мне хочется здесь лишь особо выделить имя Герцена вследствие сколько разросся, но он конечно ни в какой мере не претендует на полноту. Для большей ясности вопроса надобно было бы, сверх всего нами сказанного, отчетливей диференцировать ранний европейский «социологизм», указав в нем различные исходные точки и различную направленность. Но нашей целью было лишь подчеркнуть, как со второй четверти XIX в., особенно начиная с 40-х гг., европейская критика глубоко проникается «социологизмом».

Переходя к русской критике, мы видим, что в области раннего «социологизма» мы можем отметить такие значительные явления, как поздний Белинский (вторая половина 40-х гг.) и ранний Чернышевский

---

[21] Характерно, что Геттнер — в подтверждение своих высказываний — уже имеет возможность сослаться на другого исследователя-поэта, Julius Mosen, который в 1844 г. выпустил книжку, посвященную Дрезденской картинной галлерее (Dr. Julius Mosen — «Die Dresdener Gemälde-Galerie», «Dresden und Leipzig», 1844).

В своем предисловии Mosen здесь пишет (стр. III): «... за формальным образованием известного художественного произведения в художнике действует душа мировой истории (hinter der formellen Bildung eines bestimmten Kunstwerkes die Seele der Weltgeschichte in dem Künstler thätig gewesen ist)...».

[22] О младогегельянстве в литературной критике см. специальную работу (описательного характера): Dr. Else von Eck — «Die Literaturkritik in den Hallischen und Deutschen Jahrbüchern» (1838—1842), Berlin, 1926. Две странички посвящает этому вопросу Ф. П. Шиллер в статье — «Духовно-историческая школа в немецком литературоведении», «Литература и марксизм», 1929, кн. IV, см. стр. 96—98.

(середина 50-х гг.). Я не буду останавливаться на характеристике этих явлений, которым посвящено столько блестящих страниц Плеханова. Скажу только, что к началу 50-х гг. противопоставление эстетической и исторической критики стало уже столь обычным у нас, что Аполлон Григорьев писал в «Москвитянине» за 1852 г. (в ст. «Русская литература в 1851 году»): «Наш век называют по справедливости веком исторической критики...»[23]

Мне хочется здесь лишь особо выделить имя Герцена вследствие его особенной близости с Огаревым. Уже в сороковых годах Герцен восклицал в своих «Письмах об изучении природы»: «Знаю я, что формы исторического мира так же естественны, как формы мира физического»[24].

Этот позитивизм, утверждающий «естественность» исторических форм и следовательно и их обусловленность, Герцен привносил и в свои суждения литературного порядка. Вот образчик «социологических» высказываний Герцена в области литературы, заимствуемый нами из уже прежде упоминавшейся работы Герцена «Du développement etc»: «Полевой начал демократизировать русскую литературу, он заставил ее сойти с ее аристократических высот и сделал ее более народной или по крайней мере более буржуазной (лучше перевести: более мещанской.— *А. Г.*)[25]

После нашего краткого обзора раннего «социологизма» обратимся теперь к Огареву. В разбираемом нами его «Предисловии» мы находим отчетливую формулировку огаревского «социологизма». Огарев пишет:

> «Форма и содержание произведений меняются с историческим складом народов и обстоятельств; физиологически неизбежные трагедия и комедия жизни остаются в роде человеческом, но образ жизни меняется и кладет свою печать на форму произведений; религиозный, научный, политический и общественный взгляд на вещи меняется и дает иное содержание. Греческий хор исчез из трагедии, потому что исчез образ жизни эллинов; католический взгляд Данта не имеет ничеcкого общего с мировоззрением Гамлета (XLIV)...

Мы видим здесь у Огарева — и нам хочется это подчеркнуть — членение формы и содержания и утверждение их обоюдной обусловленности: и форма и содержание по словам Огарева «меняются с историческим складом народов и обстоятельств». Причем интересно то, что в этом «историческом складе народов и обстоятельств» Огарев различает, с одной

[23] Цитирую по «сочинениям» Григорьева, т. I, Спб., 1876, стр. 1.

[24] Письмо первое. «Эмпирия и идеализм». соч., изд. Павленкова, т. IV, Спб., 1905, стр. 164.

[25] Цитирую по русскому переводу: «К развитию революционных идей в России,» изд. В. М. Саблина, М., 1906, стр. 86.

стороны, чисто идеологические моменты (по терминологии Огарева «религиозный, научный, политический и общественный взгляд на вещи»), которые обусловливают собой «содержание»; с другой стороны, «образ жизни», обусловливающий «форму». Последнее положение Огарев иллюстрирует примером греческого хора в трагедии, который исчезает вместе с образом жизни эллинов. Так аналитически расчленяет Огарев природу художественного явления, но его аналитическое членение идет еще дальше. Вот что говорит Огарев, прежде чем он приходит к утверждению изменяемости «формы» и «содержания»: «Вечных начал искусства, помимо его технической стороны (подчеркнуто мной.— *А. Г.*), нет. Техническая сторона искусства вечно одна и та же: никогда живопись не уклонится безнаказанно (подчеркнуто мной.— *А. Г*) от законов перспективы, от линий человеческого тела, даже в самых фантастических образах чертей и ангелов; никогда музыка безнаказанно не уклонится от естественных условий гармонии; никогда поэзия безнаказанно не отшатнется от естественности образов и выражений и от гармонии стиха. Законы техники вечны, как законы природы, которых они повторение в искусстве. Чем сильнее талант, тем он больше обладает техникой и умеет ею пользоваться. Но форма и содержание произведений меняются с историческим складом и т. д.» (XLIII—XLIV). Мы видим здесь, что Огарев не идентифицирует «формы» с «техникой», —историческому понятию «формы», в его интерпретации весьма приближащейся к категории жанра, он явственно противопоставляет естественно-историческое понятие «техники», остающейся, по его мнению неизменной.

Одним из основных понятий огаревского «социологизма» [26] является понятие «среды». Вот некоторое высказывания Огарева:

> ...Зачавшись в среде преимущественно барской, да еще в среде образованного меньшинства барства, литература... имела потребность говорить изящно. Может быть, изящество языка и могло вырасти только у образованного барства... Изящность в приемах, в образе жизни — обусловливали изящность языка и форм в литератруе (XLVIII—XLIX).

Или о Полежаеве:

> Среда образованного мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого помещичества вырастила Полежаева (LXIII).

[26] Общественный характер личности утверждается следующей общей формулой Огарева: «..границ... между личностями и общественностью в жизни не существует, потому что личность человеческая есть личность общественная» («Памяти художника», l. c., стр. 247).

Говоря об Островском, Огарев очень хорошо характеризует социальную природу русского купечества.

> Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе,— по купеческому быту, этой буржуазии, недоросшей до касты, но уже вместившей в себе всю безнравственность понятий и лицемерия, с ней нераздельную, и являющейся в народном представлении не в образе касты, а в образе так называемого кулака из мужиков (LXXXIX).

Может ли художник «преодолеть» вскормившую его среду? Этот вопрос затрагивает Огарев, говоря о Полежаеве:

> ...Мир русского невежественного барства, русского помещичества, выпустил в свет горячего юношу с сильным поэтическим талантом, который мог развиться только под условием — забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел; но с детства усвоенная привычка необузданности и рука Николая — дикого Каменного гостя, настигшего дикого Дон-Жуана,— не допустили могучий талант до отрицания этой среды в жизни, а следственно и в поэзии (LX—LXI).

Еще отчетливее ставит Огарев вопрос о «границах», поставляемых художнику «средой», в уже цитированном нами ранее отрывке о Лермонтове. Здесь он пишет:

> Без сомнения Лермантов не мог сочувствовать такому общественному построению, но ему неоткуда было взять идеала нового общественного порядка, а самому нельзя было выйти из сословной личности (подчеркнуто мной.— А. Г.) — и он поневоле уходил в совершенно бесцельный мистический скептицизм (119).

Сознание исторической необходимости явственно звучит у Огарева. «В том-то и дело,— я цитирую вновь огаревское «Предисловие»: что жизнь, что история ставит не право, а возможность, или лучше необходимость, следствие целого склада причин (LXVIII). С этим сознанием исторической необходимости связано понимание роли личности в истории:

> «Мы надеемся,— пишет Огарев,— что нас не упрекнут в преувеличении значения Пушкина и декабристов, на том основании, что не их влияние было так велико, а они сами находились под влиянием им современных потребностей. В этом повторяется в истории то же (то же?) кругообращение жизни, как в остальной природе. Приток новых сил ставит, как новое данное, потребность к их выходу; эта потребность создает деятелей, а деятели становятся новой данной силой, которой влияние распространяется по всему организму (LXLV).

Приведенные нами выдержки из огаревского «Предисловия» свидетельствуют, что перед нами яркая манифестация раннего русского «социологизма». Встает только вопрос: в какой мере можно считать этот «социологизм» материалистическим? «Предисловие» Огарева дает нам мало материала для решения этого вопроса; мы здесь имеем только осуждение метафизики, правда, выраженное в четкой формуле:

> Метафизика развивала из себя диалектическую паутину, не слишком заботясь о действительности, о которой сама проповедывала, но которую не об'ясняла из фактов, из простого сцепления причин и следствий, а облекала факты в свою паутину и возводила простые явления в нравственный принцип, способ, которым можно примириться со всем на свете и все не только оправдать, но узаконить, естественное, но самое узкое последствие этого направления — доктринаризм (LXXXI).

Этой огаревской формулы однако недостаточно, чтобы дать ответ на поставленный нами вопрос о материалистическом характере начертанного Огаревым наброска эстетики. И решать этот вопрос придется очевидно в контексте всего мировоззрения Огарева...

Во всяком случае, от традиционного европейского «социологизма», о котором мы говорили выше, и даже от его младогегельянской модификации огаревский «социологизм» значительно отличается тем, что он неизменно сопряжен с активно-революционным устремлением [27]. «Чувствуется,— пишет Огарев, заключая свое «Предисловие»,— что слово покончило свою задачу; пора приступить к делу» (LXLVI). Этот призыв к «делу» одушевляет огаревскую эстетику [28], и вот почему нам хочется включить его эстетику в достояние ранней русской революционной демократии, применив к Огареву слова Ленина о Герцене: «Он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» [29].

---

[27] До какого яркого революционного гротеска возвышается Огарев в следующих призывных строках, обращенных к художникам: «Если старый мир гибнет и вы это глубоко чувствуете, вы еще найдете в себе иную силу, силу проклятия; вашей фантазии явятся мощные образы, которые потрясут даже это бессильное общество... Чего вы боитесь уродливых фраков на вашей картине? Да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности рубища и из-за скаредных фигур лавочников энергический образ народа, гласящего: «И моя пора приходит!» («Памяти художника», l. c., стр. 250).

[28] Вопрос о том, в какой мере изложенные нами теоретико-эстетические взгляды Огарева связаны с его непосредственной поэтической практикой, не входил в задачу нашего исследования: это — благодарная тема для самостоятельной работы.

[29] Н. Ленин — Памяти Герцена (см. собр. соч., т. XII, ч. I, Гиз, М., 1925, стр. 100).

А. В. Ефремин

БОРЬБА ЗА НЕКРАСОВА [1]

I

«Тут всё есть, коли нет обмана»
А. Грибоедов

В январе с. г. была напечатана мною статья «Ехидная гримаса»[2]. Статья эта разоблачает Рейсера, ополчившегося против «Светочей»[3], против революционного характера поэмы.

В зарубежной белой прессе[4] моя статья не осталась без отклика: белогвардейские газеты взяли под свою защиту Рейсера. Явление это весьма симптоматично: оно устанавливает традиционную связь, начинающуюся от доносившего на Некрасова Булгарина, проходящую через мистика Страхова, мракобеса Авсеенко, клеветника Арнольда, злого ненавистника всего радикального — А. А. Фета и пр. и пр. и заканчивающуюся идейной перекличкой Рейсера с белогвардейскими борзописцами.

В чем смысл выступления Рейсера?

В своей статье он будто бы берет под защиту Некрасова. Но это лишь прием, имеющий целью снизить и революционную поэму «Светочи» и самого Некрасова. В упомянутой выше статье «Ехидная гримаса» устанавливается преемственная связь аргументаций Рейсера с аргументами ретрограднейшей критики 70-х годов. Все, что Рейсер говорит о «Светочах», поразительно точно напоминает былые выступления против Некрасова. Рейсер нарочито замалчивает революционизирующую ноту поэзии Некрасова. Нечего и говорить о том, что формалист Рейсер совершенно не касается социальной значимости поэзии Некрасова, обнаружив полное непонимание в этой сфере; он обнаруживает и чудо-

[1] Ответ на статью Рейсера, помещенную в № 6 «Литература и марксизм» и озаглавленную: «Новооткрытые строки Некрасова».
[2] «Известия ЦИК», 13 января 1930 г.
[3] Поэма была опубликована Демьяном Бедным в «Правде» от 18 и 19 апреля 1929 г.
[4] «Возрождение» от 17/I, 1930 г., № 2779 и др.

вищный провал в трактовке творчества Некрасова и заявляет: «Идеалы декабриста Волконского не были столь демократичны, как это полагает автор «Светочей». Рейсер видит в поэмах «Дедушка» и «Русские женщины» чисто исторические произведения. Реакционная критика 70-х годов тоже порицала Некрасова за то, что аристократке 20-х годов княгине Трубецкой поэт сообщил черты и характер «нигилисток» 70-х годов. И Рейсер порицает автора «Светочей» за то, что декабристу Волконскому поэт сообщил черты революционера конца 60-х годов. Но поэт сделал это сознательно: историческая поэма представляла для него лишь средство агитации,— он воспользовался историческими фигурами, как трибуной для пропаганды революционных идей своего времени.

Обратимся к разбору статьи Рейсера. Начинает он с оценки той тетради, в которой обнаружена поэма «Светочи». Тетрадь эта найдена в одном частном иваново-вознесенском архиве и принадлежит ныне Д. Бедному. О ней Рейсер пишет: «Прежде всего следует отметить, что вопреки категорическому утверждению А. Ефремина о том, что тетрадь принадлежала неизвестному лицу (см. стр. 54 его статьи[5]), совершенно очевидно, что владельцем ее был некто Федор Самыгин. Эта подпись четко выведена на обороте переплета»...

Рейсер наивен. Он полагает, что запись фамилии на внутренней стороне переплета всегда и обязательно свидетельствует о принадлежности книги. «Остается удивляться,— продолжает он,— как она (фамилия) осталась незамеченной А. Ефреминым, так тонко и внимательно изучившим всю тетрадь».

Не заметить надписи, о коей говорит Рейсер, может лишь слепой. Ученик первой ступени, едва раскрыв тетрадку, прежде всего прочитает указанную надпись. Но что отсюда следует? Разве на другой стороне переплета не значится: «Никанор Васильевич Китаев»? Если стоять на наивной в высшей степени позиции Рейсера, то окажешься сразу же перед затруднением: чья же это тетрадь — Самыгина или Китаева?[6] Распространяться по этому поводу вообще не стоило бы, если бы Рейсер в дальнейшем не построил на Самыгине всю свою концепцию. А концепция его сводится вот к чему. Доверившись первой же именной

[5] Моя статья «Загадочный документ» в книжечке «Дешевая библиотека классиков», Н. А. Некрасов, «Светочи», 1929, Гиз.

[6] Рейсер «изучил» тетрадь весьма поверхностно: на внутренней стороне переплета имеются неразборчивые стертые карандашные надписи латинского шрифта, о которых он вовсе не упоминает.

надписи, он отправляется по пути анекдотических розысков и начинает излагать свои познания о Самыгине. Познания и розыски эти крайне ценны, и сводятся они вот к чему: Самыгин, видимо, был дворянином, впрочем Рейсер не ручается, что это действительно так... Вот и все! «Исследование» это отдает анекдотом: не правда ли?

Рейсер, прочитав в моей статье «Загадочный документ», что тетрадь принадлежала ивановововознесенцу, поехал в Иваново-Вознесенск и, проверив на месте мои предположения, удрученно замечает: «Можно таким образом согласиться с утверждением А. Ефремина, что тетрадь принадлежала иваново-вознесенскому обывателю». Но я этого никогда не писал. Я писал о б и т а т е л ю, т. е. жителю, а не обывателю. Разница большая, но Рейсер не чувствует этого различия и потому немедленно впадает в ошибку и заключает: «На революционные связи и интересы Ф. Самыгина нет никаких решительно намеков», а отсюда впоследствии Рейсер приходит к еще большим нелепостям. Таким образом, отправляясь от неверной посылки, он приходит к неверному заключению, кичится своим ошибочным силлогизмом, и упорно держится ошибочных позиций. «В нечаевском процессе,— продолжает Рейсер,— нет никаких следов участия в нем или близости к революционерам владельца тетради, Федора Самыгина».

Так вот зачем Рейсеру понадобился Ф. Самыгин: чтобы установить, что он не причастен к революции. Но кто же повинен в том, что Рейсер так легковерен и ничего и никого не видит, кроме Ф. Самыгина? Да если бы даже и установить владельца тетради, то что ж из того? Рейсер должен знать, что в прежние времена «революционные связи» не афишировались, а конспирировались, и найти их следы по истечении полустолетия не столь уж легкое дело.

Но все же Рейсер не может опровергнуть того, что тетрадь, в которой найден текст «С в е т о ч е й», принадлежала иваново-вознесенскому обитателю. Проследив путь тетради и забыв при этом упомянуть, что путь этот намечен в моей статье «Загадочный документ», что имена и аббревиатуры расшифрованы там же, что письма проверены мною, что связи установлены мною же (Рейсер вообще забывчив и часто делает от себя те сообщения, которые приведены в моей статье), Рейсер наконец согласился, что тетрадь иваново-вознесенского происхождения. А это очень важно.

Потерпев неудачу в оспаривании локального происхождения тетради, Рейсер пытается подвергнуть ее сомнению во в р е м е н и и с

легкомыслием, поистине младенческим, заключает: «Светочи» не могли быть написаны раньше 1873 г.». (В моей статье «Загадочный документ» «Светочи» отнесены к 1869 г.).

Как же Рейсер мотивирует свои домыслы?

Суть в том, что в иваново-вознесенской тетради, содержащей «Светочи», имеются еще записи: стихи, воспоминания, анекдоты, эпиграммы и пр. И вот Рейсер утверждает, что все записи тетрадки должно датировать годами, следующими после 1873 г. С самоуверенным азартом он заявляет например относительно стихотворения Алмазова «Учебно-литературный маскарад» (отрывки его находим в тетради), что эти-де стихи появились впервые в издании 1874 г. О, милый человек! Вы впервые увидели эти стихи в издании 1874 г. и потому относите их к этой дате. Но если бы вы были больше искушены в истории литературы, вы отыскали бы это самое стихотворение еще в январском номере журнала «Зритель» за 1863 г. Таким образом, как видите, оно было напечатано на 11 лет раньше того срока, к которому вы его относите. А в рукописях это эпиграммическое стихотворение ходило, может быть, еще раньше.

Итак, в утверждении Рейсера, будто тетрадь не могла быть заполняема ранее 1873 г., получается явный конфуз: тетрадь, может быть, составлялась втечение долгого срока, начиная с 60-х годов. А раз так, то в нее могли попасть «Светочи» и ранее 1873 г., т. е. именно в год их написания: в 1869 г. Таким образом, оспаривание временного происхождения тетради стоит на уровне оспаривания ее локального происхождения; тетрадь же просто представляет собою сборник, в который, видимо, переписывались материалы из других записных книжек разного времени.

Загадочную тетрадь, хранящуюся у Д. Бедного, Рейсер не в силах был оспорить. Тогда он оспаривает самую поэму «Светочи» и утверждает, что она тоже не могла появиться ранее 1873 г. Почему? — Да потому, видите ли, что текст «Светочей» совпадает в двух строках (это составляет всего два слова) с редакцией «Дедушки» 1873 г. Но этот аргумент всецело обращается против Рейсера: Некрасов-то ведь мог знать в 1873 г. то, что он сам писал в 1870 г. Если допустить, что Некрасов уничтожил черновик «Светочей» (как мы это предполагаем), то он мог ведь по памяти корректировать две строки в тексте 1873 г.: ведь исправления касаются всего двух слов. А обизумительной памяти Некрасова упоминают все, знавшие его. Сестра

его, Буткевич, рассказывает, что он мог прочитать в любое время наизусть любое свое стихотворение[7].

Еще более смехотворны доводы Рейсера по поводу того, что в тетради записано стихотворение «В столицах шум» в редакции 1873 г. Но тетрадь ведь представляет собою список с нескольких тетрадей (с этим также Рейсер вынужден был согласиться). А раз так, то переписчик мог ведь помещать разные данные в любом порядке. Далее, в самоуверенном азарте, захлебываясь от сознания своей учености, Рейсер пишет: «Аббревиатура «Ад», так удивившая Ефремина и давшая ему даже основание говорить о конспиративной опытности переписчика, есть не что иное как сокращение обычного псевдонима Б. Алмазова — «Адамантов».

В журнале «Зритель», где мы отыскали печатный первоисточник эпиграммы Адамантова, эта фамилия написана всеми буквами: Адамантов. Таким образом, гадать здесь не о чем. Но мы указывали вот на какое обстоятельство, Рейсером не только не опровергнутое, но и непонятое: в демьяновской иваново-вознесенской тетради фамилии вообще не пишутся полностью. Когда мы указывали на выдержанную осторожность неизвестного обладателя тетради, то имели ввиду, что стихи и эпиграммы подписаны с осмотрительностью, изобличающей опытность переписчика. Так, стихотворение Некрасова «В столицах шум», бывшее втечение нескольких лет под цензурным запретом, скреплено буквами «Н. Н—в». Такими же литерами подписана и поэма «Светочи». Под другими стихами значатся буквы: Н. Щ. или К. или Н. и т. д... То же относится к некоторым записям «для памяти»: и здесь имена обозначены тоже сокращениями. Вот об этой-то осторожности обладателя тетради мы и говорили в статье «Загадочный документ».

Далее Рейсер пишет: «Аббревиатуры Н. Щ. обозначают конечно, как нетрудно догадаться, Щербину». И тут же добавляет, что действительно среди эпиграмм Щербины он не мог обнаружить четверостишия «Усы в аршин». Вот в этом-то суть: Щербина был в известных

---

[7] На стр. 158 Рейсер доходит до клоунства: его очень занимает запись о морозе («сегодня мороз 42°») и он устанавливает при посредстве весьма сомнительной аппаратуры, что этот мороз относится к 28 декабря 1875 г. Восхитительно! Это утверждение однако (основательность и достоверность его оставляем на совести Рейсера) нисколько не колеблет наших положений: в сводную тетрадку могли попасть и более ранние записи («Маскарад» Алмазова от 1863 г. и более поздние).

кругах весьма популярен, и много летучих безымянных эпиграмм связывалось с его именем[8]. Немало чужих эпиграмм приписывали Пушкину. Множество стихов гуляет сейчас под вывеской Д. Бедного, а между тем Д. Бедный к ним никак не причастен.

Но допустим, что наши соображения не убеждают Рейсера, что Н. Щ. обозначает всегда «Николай Щербина». Встанем в самом деле на этот путь. В тетради два стихотворения скреплены подписью Н. Щ. Одно из этих стихотворений легко найти среди произведений Николая Щербины. «В таком случае,— заключает безоговорочно Рейсер,— можно поверить, что и второе, подписанное теми же литерами, принадлежит тоже Щербине, хотя ни в одном собрании его стихов искомого четверостишия и не удалось обнаружить». Прекрасно. Продолжим это рассуждение и будем последовательны. В той же тетради имеются еще два стихотворения и оба подписаны одинаковым сокращением: «Н. Н — в». Одно из стихотворений — «В столицах шум» принадлежит Некрасову и находится во всех собраниях его сочинений. Стало быть, если следовать логике Рейсера, то и второе стихотворение принадлежит Некрасову. Не так ли? А это второе и есть как раз «Светочи».

Однако мы не станем ловить Рейсера на его логических ошибках — это задача неблагодарная.

В статье «Загадочный документ» мы устанавливаем очень важное обстоятельство: в переписке Нечаева с Нефедовым упоминаются те самые лица, которые фигурируют в загадочной демьяновской тетради. Этому в сущности нечего удивляться: Нечаев жил в Иваново-Вознесенске[9], служил там и не порвал связи с иваново-вознесенцами втечение всей своей деятельности. Рейсер ничего этого не мог оспорить; наоборот, он излагает всё это своими словами и от себя, забыв по рассеянности упомянуть о том, что всё это изложено в той самой моей статье «Загадочный документ», против которой он выступает. В этой статье я обращаю внимание на таинственную запись в тетради: «Ник. Ник. уехал в Швейцарию» и высказываю предположение, что Ник. Ник. это — Николай Николаевич Николаев, по паспорту которого Сергей Геннадиевич Нечаев выехал в марте 1869 г. в Швейцарию. Рейсер возражает: «Хотя запись эта и не совсем ясна (он хотел бы,

---

[8] Е. Ф. Юнге — «Воспоминания» (1848–1860 гг.), книгоиздательство «Сфинкс», стр. 63.

[9] Села Иваново и Вознесенск переименованы в город Иваново-Вознесенск позднее, только в 1871 г., но для простоты мы всюду употребляем более удобное название: Иваново-Вознесенск.

чтобы подобные записки делались en toutes lettres), но можно думать, что делал ее человек, очень мало связанный с нечаевцами». Так! Ну, хотя и мало, а все же связан. И на том спасибо. Для нас достаточно, что такая связь вообще существовала. Рейсер продолжает сомневаться: «Он (записывающий) не знает например такого основного факта, что уехал за границу не Николай Николаевич Николаев, а Сергей Геннадиевич Нечаев...» Этот довод смешон; но не будем ставить его в вину ретивому Рейсеру. Он, видимо, не знает. что последние изыскания установили важное обстоятельство: Нечаев был действительно арестован в январе 1869 г. Долгое время считали, будто никакого ареста не было, будто легенда об аресте была создана самим Нечаевым для придания себе весу. Но нынче это разоблачено: Нечаев был в действительности арестован. После студенческих волнений 1868 г. за ним усиленно следила полиция и в Москве, и в Петербурге, и в Иваново-Вознесенске. Раз так, то понятно, почему человек, осведомленный об этом, не записывает так, как хотел бы Рейсер: дескать, Серг. Геннад. уехал в Швейцарию, а именно заносит конспиративную запись: «Ник. Ник. уехал в Швейцарию».

В статье «Загадочный документ» мы устанавливаем, что обладатель тетради держал связь с нечаевцами или с самим Нечаевым. Если же принять в соображение, что в его же тетради найден и список «Светочей, отличающийся от поэмы Некрасова «Дедушки» дополнительными 214 стихами, то возникает проблэма: не был ли и сам Некрасов связан с нечаевским движением? Не в связи ли с этим написана и поэма «Светочи», позже переделанная и сокращенная самим Некрасовым в «Дедушку»? Рейсер полемизирует против этого. Он подробно рассказывает, как Некрасов писал черновик «Дедушки»; при этом он не прибегает даже к таким словам, как «повидимому» и «может быть»: он твердо знает, как Некрасов, «не докончив одной главы, начинал другую, а не закончив ее, возвращался к первой...» и т. д.

Так может писать лишь ясновидец. Совсем по-ученически звучат недоумения Рейсера: «Что именно могло заставить Некрасова нарочно изменить эту (т. е. обозначенную под поэмой «Дедушка») датировку?» И еще его же вопрос: «Какие важные политические события 1869—1870 гг. могли заставить его (Некрасова) испугаться и так настойчиво скрывать истинную дату создания поэмы..?»

В статье «Ехидная гримаса» я ответил Рейсеру, какие важные события имели место на рубеже 1869—1870 гг. Что же касается нарочито

неверной датировки, то Рейсер должен бы знать, что Некрасов неоднократно выставлял намеренно фальшивые даты: стихотворение «В столицах шум» датировано было неверно; «Как празднуют трусу» было датировано нарочито неверно, и мы об'яснили, почему это были сделано. «Железная дорога», написанная в 1864 г., была намеренно помечена 1855 г., чтобы отвести глаза: дескать, относится к эпохе минувшего царствования. К стихотворению «Бунт» Некрасов делает, с целью обмануть цензуру, приписку, будто оно относится к старым временам, между тем как оно написано под свежим впечатлением и по материалам «Колокола». Известное стихотворение «Смолкли честные» Некрасов пытался напечатать и для этого озаглавил его так: «Перевод с французского» и приписал фальшивую дату: «2 декабря 1852 г.». Таких примеров имеется множество. Умилительно наивный Рейсер этого не знает и удивляется: зачем-де поэт стал бы менять дату. Некрасов умел заметать следы. Проникнутые революционным настроением строки: «Душно! без счастья и воли» названы «Перевод из Гейне», а на самом деле они вполне оригинальны, и поэт впоследствии сам перечеркивает подзаголовок и помечает: «Собственное». К тому же приему пытался прибегнуть Некрасов при опубликовании стихотворения, известного под именем «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» с подзаголовком «Перевод с французского», «Trois mois dans la patrie. Paris, 1836». На самом деле сочинения такого не существовало, подзаголовок этот выдуман Некрасовым, а на французский язык он переведен по просьбе автора (плохо владевшего французским языком) Чернышевским и Тургеневым.

Написав «Светочи» в конце 1869 г., Некрасов после арестов, связанных с провалом нечаевцев, мог под «Дедушкой» выставить фальшивую дату: «30 июля 1870 г.». Это вполне было свойственно приемам Некрасова и никак не может служить аргументом в пользу Рейсера. Вообще в этом деле надо быть очень осторожным. Мы знаем например, что Пушкин, не только отрекался на допросах от «Гаврилиады», но имеется письмо Пушкина к близкому другу его Вяземскому [10], в котором поэт категорически отрекается от этой поэмы, между тем она все-таки принадлежит его перу. Рейсер спорит против того, что «Светочи» были написаны в 1869 г., и пишет: «Некрасов не мог познакомиться с записками Розена раньше 1870 г.». Это утверждение, выраженное в столь категорической форме, свиде-

[10] Письмо князю П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г.

тельствует лишь о том, что Рейсер ничуть не представляет себе общественного облика Некрасова и меряет его на свой обывательский аршин. Лето 1869 г. Некрасов провел за границей: был в Германии и во Франции. В это время «Записки декабриста» Розена (нем. издание[11]) находятся на руках не только у всех тех, кто жадно интересуется общественным движением, но даже «сентиментальные немки читают главу третью (главу 6-ю русского подлинника) не иначе, как стоя на коленях»[12]. А простота Рейсер полагает, что Некрасов, живя за границей, в Германии, даже не поинтересовался этаким событием. Каким же надо быть обывателем, чтобы приписать Некрасову этакую обывательскую настроенность! Но, допустим, Рейсеру неизвестно, что Некрасов провел лето 1869 г. за границей. Так ведь кто-нибудь мог привезти немецкое издание в Россию? Но против этого у Рейсера готов отвод: Некрасов-де не мог ознакомиться с немецким оригиналом записок потому, дескать, что «иностранными языками Некрасов владел не особенно хорошо...». Но Некрасов в молодости не знал и французского языка, однако это не мешало ему переводить французские водевили и делать это так, что многие изумлялись[13].

Что касается домыслов Рейсера о переписке по поводу 9-й книги «Отечественных записок», в которой напечатана поэма «Дедушка», то здесь Рейсер сам себе противоречит, запутывается окончательно в произвольном толковании и наконец договаривается до того, что, дескать, «Дедушка» попал в 9-ю книгу журнала, чтобы заполнить место, оказавшееся пустым после цензурных вырезок...». Рейсер, видимо, не знает, что Некрасов был редактором-издателем журнала и не нуждался в том, чтобы его стихами заполняли пустые места.

И еще Рейсер пишет: «Нужно не забывать наконец, что Некрасов был журналист, а не в манере журналиста выдерживать написанные вещи. Только что дописанная рукопись тотчас же отправлялась к наборщику». И это неверно. Рейсер не понимает и не знает, что иные рукописи Некрасова залеживались на долгий срок. Вот отрывок из воспоминаний сестры поэта, А. А. Буткевич: «Написав что-нибудь не-

---

[11] В 1869 г. «Записки декабриста» Розена вышли на немецком языке в Лейпциге без обозначения имени автора.

[12] Архив села Карабихи, Москва, 1916, стр. 166.

[13] Д. В. Григорович, собр. сочин., т. XII: «Он (Некрасов) тогда же перевел пятиактную драму «La nouvelle Fanchon» под названием «Материнское благословение». Каким образом ухитрился он это сделать, не зная буквально ни слова по-французски—остается непонятным...».

цензурное, он (Некрасов) обрезал листок, оставляя только среднюю узкую полосу,— он всегда по ней мог прочесть, но никто более. Он находил, что в России должно пускать в публику лишь то, что можно при удобных обстоятельствах напечатать. Куда делись эти рецепты? Сколько могу судить, брат переделал их в удобные стихотворения или просто выжидал время, чтоб напечатать»[14].

Этот путь совершенно естественен и натурально намечает возможности. И путь этот настолько же противоречит измышлениям Рейсера, насколько он совпадает с возможным путем «Светочей». Некрасов мог написать эту поэму (она могла в списке попасть к кому-нибудь), а затем она была переделана автором в «удобное стихотворение» и напечатана в форме «Дедушки» в «Отечественных записках».

Вообще утверждение Рейсера, будто стихи Некрасова тотчас печатались после написания, показывает лишь, что Рейсер совсем не знает условий, в которых работал поэт. Множество его стихов дожидалось годами, чтобы быть напечатанными. Лица, занимавшиеся архивами Некрасова, удостоверяют, что у него скоплялись немалые запасы ненапечатанных стихов. Достаточно напомнить, что перед смертью Некрасова только Суворину сестрою поэта было передано для напечатания сразу полтора десятка стихотворений разных времен. То же было и втечение всей его жизни. Поэма «Белинский» была напечатана лишь через несколько лет, да и то в зарубежной прессе, а в легальной печати и после того лишь через 20 с лишним лет. «Железная дорога» была опубликована только через год, да и то с купюрами. На некоторых стихотворениях так и делалась пометка: «не для печати» («За желанье свободы народу» и др.). Инвектива «Как празднуют трусу» была напечатана только через 28 лет; «Ликует враг» — через 3 года; «Напутствие» — через 45 лет; «На смерть Шевченко» — через 25 лет; «Загадка»— через 70 лет и т. д. и т. д.— без конца.

Рейсер не понимает, что рукопись рукописи — рознь. А наша спорная рукопись «Светочей» как раз принадлежит к таким, которые, не будь они переделаны в «удобные стихотворения», как выражается сестра поэта,— пролежали бы десятки лет. Некрасов, в полном согласии с показаниями своей сестры, мог переделать «Светочи» в «удобное стихотворение» «Дедушка»,— вот почему оно, может быть, и увидело свет в 1870 г.

---

[14] Воспоминания А. А. Буткевич.

Буржуазный эстет Рейсер пишет: «Существует такая граница безвкусия, когда самый показ этого факта становится аргументом», а далее: «показ этого факта» выражается в том, что Рейсер цитирует революционные фрагменты из поэмы «Светочи» и корчится от отвращения. «Начну с того,— цедит сквозь зубы, уподобляясь буржуазному снобу, Рейсер,— что безвкусно для Некрасова уже самое заглавие «Светочи». Почему? — Да потому, что это заглавие безвкусно. Всякий понимает, что означает в аллегорическом смысле «Светоч» [15]. Ольхин в своем известном стихотворении «У гроба» называет «светочем» загнанного в ссылку Чернышевского («Яркий светоч науки опальный»). «Светочи»— в поэме того же названия — это революционеры. Почему же такое заглавие безвкусно? — Это может утверждать лишь человек, которому нужно снизить и унизить революционную поэму. «Молодые лошади» — это поэтическое заглавие? Кривляющийся сноб Рейсер вероятно заюлит и постарается не ответить на этот вопрос, если только он знает, что образом молодых лошадей Некрасов воспользовался, чтобы представить трагическое положение жертвенной революционной молодежи. И мы не находим, чтобы это было безвкусно. А что же безвкусного в аллегории светочей? Мы не знаем наверное, принадлежит ли поэма «Светочи» Некрасову. Но вот что странно: Мордовцев, который на смерть поэта писал об историческом значении Некрасова, несколько раз упоминает термин светоч... Может быть, это случайность, а может быть — и рассчитанный намек? Кто знает?

Далее, Рейсер с тою же убедительностью высказывается о плохих стихах поэмы «Светочи», причем пользуется устарелыми аргументами стародворянских эстетов, которым была нестерпима плебейская новизна демократической музы Некрасова. Больше всех, как известно, в свое время суетился по этому поводу Авсеенко, который указывал на то, что Некрасов не в силах даже соблюсти стихотворный размер; то же дословно повторяет за ним Рейсер и спешит применить это обвинение уже в первой же строке «Светочей». Рейсер не выносит «нудной цыганщины» «Светочей», а Белинский был в восторге от куплетов Некрасова и сообщал за границу Тургеневу: «Некрасов написал недавно страшно хорошее стихотворение (Белинский имел ввиду куплеты «Нравственный человек»). Если не попадет в пе-

[15] Может быть, распространению этого термина способствовало то обстоятельство, что во второй половине 60-х годов Блюммер издавал в Москве журнал «Светоч», а в название журналов берут всегда слова популярные.

чать, то пришло к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека и что за топор его талант!»[16]. Вот Рейсеру этот топор не по вкусу. Еще интересно вот какое обстоятельство: почему-то считалось долго, будто стихи Некрасова неряшливы по форме. Поэт сам способствовал распространению этого мнения. Так, в письме к Тургеневу он скромно, а может быть, и лукаво, пишет: «Я далее ямба в размерах ничего не понимаю». А Рейсеры и рады. Особенно не понравился Рейсеру ряд революционных строк, которые он приводит на стр. 171. Он находит их вульгарными, непоэтическими, пошлыми и пр. Но реакционные критики издавна изощрялись в подобных упражнениях. Рейсер продолжает лишь их старинную болтовню, не понимая того, что Некрасов намеренно снизил канонизованную пушкинскую традицию, создав тем самым новый поэтический стиль. Рейсер не выносит «Светочей» и пишет: «Здесь элемент того безвкусия, которое и положило начало понятию некрасовщина», а либеральный барин Тургенев еще 70 лет назад выражался куда решительнее: «Только татарское,— морщился он,— ухо может слушать его (Некрасова) стихи». Рейсер сюсюкает, что автор «Светочей» работал на стертом эпигонском стихе. А ныне считается вполне установленным, что Некрасов, по-своему опрозаив стихотворную строку, сделал ее тем самым поэтичнее. Но Рейсер не понимает этого своеобразного приема и твердит давно надоевшие зады, набившие оскомину еще 40 лет назад.

Допустим, что среди 214 строк, дополняющих «Дедушку» в поэме «Светочи», действительно имеются неудачные строки. Что же с того? С. Андреевский всю поэму «Дедушка» считал приторной, слабой, фальшивой. Соловьев доказывал, что «Горе старого Наума» наполнено диссонансами. Павлов то же самое утверждал относительно «Кому на Руси...», а Басаргин — по поводу «Русских женщин». Госиздатовское издание Некрасова (однотомник) открывается стихотворением «В дороге». В свое время пошляк Дудышкин нанизал ряд строк из этого стихотворения и старался показать, насколько они фальшивы, стерты, эпигонски и пр.,— совсем в духе Рейсера. А как отнесся Белинский к этому стихотворению? Когда Некрасов прочел его,— вспоминает Панаев,— у Виссариона Григорьевича засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и воскликнул: «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!».

[16] Письмо от 19 февраля 1847 г.

Е. Марков, разбирая поэму «Русские женщины», обнаруживал в ней все те грехи, которые Рейсер видит в «Светочах», и высказывался он об этих грехах в тех самых выражениях, которыми ныне воспользовался Рейсер. Еще разительнее, что о «Дедушке» Марков писал уже дословно то же, что Рейсер о «Светочах»: «Дедушка,— писал он,— это обычная некрасовская смесь аляповатой сатиры с приторною до невероятности идиллией, выраженной деревянными виршами...» и дальше уже специально для Рейсера, который доверяется только своему вкусу: «Литературное влияние Некрасова было гибельно. Оно испортило вкус нашей публики...». Вот видите: Некрасов испортил вкус таким людям, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Плеханов, Ленин,— все они любили Некрасова и высоко ценили его поэзию. А Рейсер заимствовал свой вкус у Полевого, Авсеенки, Маркова, Дудышкина, Страхова, Боткина, соединил их высказывания о Некрасове воедино и приложил к поэме «Светочи».

«Надо решительно не иметь художественного вкуса и такта, чтобы не заметить, каким диссонансом звучит...». Вы думаете, что Рейсер пишет о «Светочах»?— Нет, так Авсеенко высказывается о «Кому на Руси...». «Вообще словарь инкорпорированных в «Дедушку» частей — типичный, шаблонный, стершийся, штампованный словарь какого-то мелкого поэта-эпигона...»,— так пишет Рейсер. «...Поэт вдруг исчез со сцены, и на месте его начинает усиленно трудиться маленький газетный ремесленник...».

Читатель, вы не заметили различия в выражениях? Но вторая половина принадлежит уже не Рейсеру и относится не к «Светочам», а написана Авсеенко и именно по поводу бессмертной поэмы «Кому на Руси...».

Рейсер сообщает, что «Светочи» не могут принадлежать Некрасову потому-де, что ему несвойственны сложные эпитеты, вроде «жуткоплénительный» и «прилипчиво-жгучи», каковые эпитеты мы встречаем в «Светочах». Рейсер или невежественен или просто недобросовестен. Никто из русских поэтов не дал так много сложных слов, как Некрасов, специально гонявшийся за «долгословием». Вот его обычный словарь: святорусский, пустопляс, праздноболтающих, античеловечного, мертвецки-пьяного, пустопорожней, зубодробительный, апостольски-просто, мертвенно-бледно и т. д., без конца.

Еще пишет Рейсер, что «типичны для разлагающегося стиха 70-х годов двойные эпитеты». Как это понять? Если этим Рейсер хочет сказать,

что Некрасову двойные эпитеты несовойственны, то это — чудовищное извращение факта: можно найти двойные эпитеты в изобилии на любой странице собрания стихов Некрасова. В частности в поэме «Дедушка», которая не вызывает сомнения у Рейсера, двойных эпитетов множество: стихи 110 («С медленных дремлющих вод»), 391 («С громким веселым приветом»), 370 («В дикой далекой глуши») и т. д. Утверждать, что двойные эпитеты имеются лишь в «Светочах», просто недобросовестно. Но цель здесь совсем другая: Рейсер пишет, что «двойные эпитеты типичны для разлагающегося стиха». Этим утверждением он старается охаять художественный прием Некрасова: вот в чем главная задача буржуазного сноба Рейсера.

«Характерен и способ связи интерполируемого места с основным некрасовским текстом: часто это — стык, повторяющий последнюю строку подлинного текста или одно его слово. Парафраза той же строки часто заканчивает вставку». Так Рейсер устанавливает доказательство бездарности фальсификатора. Но Рейсер передергивает и тут. Тот способ увязки, который Рейсер пытается охаять,— это именно способ Некрасова. Пора разоблачить Рейсера: отводя тот или иной прием от Некрасова, он изо всех сил попирает прием. Но так как он (Рейсер) не в силах доказать, что Некрасов стоял на другой художественной позиции, то пятно должно лечь, по ложной логике Рейсера, на Некрасова!

Посмотрим, как увязывает сам Некрасов те тексты, которые приходилось изымать. Вот найденные недавно 8 строк из «Размышлений у парадного под'езда» (они следуют после стихов: «Как великою скорбью народной переполнилась наша земля»):

Всюду скорбные, скорбные звуки,
Всюду стон, надрывающий грудь... и т. д.[17]

Что же мы видим? Строки эти сомкнуты с традиционным текстом именно тем способом, который охаян Рейсером: в последних строках давно известного текста слово скорбью увязывается со скорбными звуками первой строки новонайденного текста. В стихотворении «Праздному» последние три строки по цензурным условиям выпали и стали известны лишь после Октябрьской революции. И что же? Тут мы находим тот парафраз, который так не нравится Рейсеру: послед-

---

[17] В госиздатовском однотомнике этих строк нет. Найдены они недавно на перечеркнутом корректурном листке.

няя строка давно известного текста «Времена не те», а вновь найденное трехстишие начинается парафрастической строкой: «В наши дни...».

В альбоме Шелгуновой сохранился писаный рукою Некрасова отрывок стихотворения «Рыцарь на час», не вошедший в печатный текст и адресованный М. Л. Михайлову. Этот текст сочетается именно тем способом, который поносится Рейсером: последнее трехстишие старого текста читается так: «В эту ночь я хотел бы рыдать...» и т. д. А невошедший текст начинается именно повторением: «В эту ночь со стыдом сознаю...» и т. д.

Рейсер, разумеется, оспорил бы и эти строки: здесь в наличии и «разложившийся стих с повторными эпитетами» и «стертые эпигонские фразы»: «Бедный брат, угнетенный, скорбящий» и пр. и пр. — все, что так охаял Рейсер, но стихи написаны рукою самого Некрасова.

В стихотворении «Н. Г. Чернышевский» 4-я строфа долгое время не появлялась в собрании стихов. И вот теперь каждый может убедиться, что двенадцатая строка общеизвестного текста начинается с того же слова, что и долго сохранявшаяся втайне строка тринадцатая; соединение их построено как раз на том стыке, который разносит в пух и прах эстет Рейсер.

В чем же дело? — Рейсер не разбирается в элементарных художественных приемах, Рейсер недобросовестен, Рейсер нарочито поносит те приемы, которые были свойственны Некрасову.

Рейсер находит в «Светочах» строку, в которой царь Николай Павлович назван «Палкиным». Он оспаривает подлинность этой строки: Некрасову-де не была известна эта кличка. Как же мотивирует Рейсер свое утверждение? — А вот его мотивация дословно: «Трудно сказать конечно, кто и когда первым так назвал Николая I. Но можно утверждать, что имя это довольно позднего происхождения. Примерно, только с середины 70-х годов оно становится общеизвестным.

Возводить же это имя к Некрасову совершенно невозможно».

Здесь я должен был бы поставить точку: дальше спорить не стоит, — фраза эта обнаруживает элементарную и всестороннюю безграмотность злополучного Рейсера. Каждому питомцу семилетки ведь известно, что Некрасов умер в 1878 г. и писал до самых последних дней жизни.

Противопоставлять «середину 70-х гг. и время творчества Некрасова» как несовместимые, исключающие друг друга понятия, учащийся V группы семилетки едва ли станет. А Рейсер настаи-

вает на этом анекдотическом противопоставлении и еще строит при этом самодовольное лицо.

По существу же возразить Рейсеру очень легко: то, что стало общеизвестным в середине 70-х годов, то могло быть известно Некрасову тремя-четырьмя годами раньше.

Рейсер совершенно голословно утверждает, что в «Светочах» рифмы не некрасовские, отделываясь при этом пустой фразой. С таким голословным заявлением смешно даже считаться.

Что касается высказываний о разночтениях, которыми отличаются «Светочи» от «Дедушки», то здесь Рейсер мелко плавает и ничего не понимает. Суть в том, что разночтения вообще — наименее исследованная область текстологии. Просто непонятно иногда, зачем иной автор так долго бьется над эпитетом. Чуковский приводит типичный пример того, как Некрасов в стихах о Белинском многократно менял один эпитет за другим (ветреное племя, сдавленное, сдержанное[18] и т. д. и т. п.).

Вполне естественно, что в контексте «Светочей» разночтения не только мыслимы, но и необходимы: ведь здесь мы имеем совсем другую идейную окраску.

Толкуя строку «Встретили старого вдруг», Рейсер пытается просто обмануть читателя и всучить ему слово «вместе», ссылаясь на то, будто такое толкование имеется в словаре Даля. Но такого толкования нет. Рейсер и здесь передернул.

На той же странице горе-разоблачитель пишет: «Рифмовку слов «упрямо» и «мама» Некрасов никогда не допустил бы, так как он-де строго рифмовал окончание вплоть до последней гласной». Здесь Рейсер тоже по своему обыкновению ведет фальшивую игру. В том же «Дедушке» находим ряд рифмованных сочетаний без совпадения последней гласной: см. стихи 45—47, 97—99, 169—171, 265—267 и др. (бредИт — едЕт; ростА — простО; скорО — борА; былО — давилА и др.).

Рейсер не допускает, чтоб Некрасов мог творить «в пафосных тонах агитационный призыв...». Это только лишний раз доказывает, что Рейсер не понял Некрасова, не постиг социального значения его поэзии. Все, что цензура вымарывала у Некрасова, она квалифицировала как агитацию. Герцен в «Колоколе» писал: «Аристократическая сволочь нашла в книжке (Некрасова) какие-то революционные возгласы, чуть не

---

[18] К. Чуковский—Некрасов, «Кубуч», 1926, стр. 170.

призыв к оружию... сочли чуть не адской машиной...» [19]. Плеханов тоже вспоминает ряд некрасовских строк и дает им высокую квалификацию революционной поэзии, вспоминая при этом, как один из питомцев военной школы, наэлектризованный стихами Некрасова и сжимая в руке ружейный ствол, шептал юношески-бунтарские речи. Короленко еще в 1897 г. записывает в дневнике, как он приехал в Вачу и застал там переполох: кустари, опасаясь преследований, сжигали Некрасова как запрещенную книгу. В притче «О двух великих грешниках» тогдашняя революционная молодежь почуяла призыв к цареубийству. Сочинения Некрасова задерживались цензурой втечение ряда лет. Стоит назвать такие стихотворения, как «Праздному», «Душно без счастья», «Мать» и много, много других, чтобы убедиться в том, что «революционный призыв в пафосных тонах» совсем не был настолько чужд Некрасову, чтобы отвергать строки «Светочей» лишь по той причине, что они революционны.

Что касается четверостишия о Тарбагатае, то в статье «Загадочный документ» мы поясняли, что фальсификатор никогда не пошел бы на замену Тарбагатая другим словом. Для Некрасова же такая замена весьма естественна. Сперва он вероятно избегал географически точно локализовать счастливое (с его точки зрения) царство довольства и свободы. Поэтически идеализируя тарбагатайцев, он не имел ввиду указывать их точного адреса. Ведь это было бы похоже на бессмыслицу: отыскать в пределах отвергаемого политического режима счастливую общину. Пимамотак был заменен видимо Тарбагатаем позднее, и мы высказали предполагаемую причину этой замены. Но откуда могло взяться самое слово Пимамотак? Трудно, почти невозможно, следить за такими деталями творческой лаборатории. Может быть, Некрасов, наткнувшись на Тарбагатай, посмотрел в словарь Даля (а он любил заниматься сборниками фольклора, народными речениями и пр.). Если это так, то там он нашел бы такое показание: Тарбаган — сибирский сурок, а рядом тут же — тарбаса, т. е. пимы. О строке «Не задолжают пятак» Рейсер пренебрежительно заключает, что она-де «приплетена просто для рифмы» к Пимамотак, а Пимамотак, дескать, образовался оттого, что переписчик, записывая поэму на память, забыл слово Тарбагатай и сочинил Пимамотак... А Авсеенко еще 60 лет назад высказал дословно точно такое же пред-

[19] Герцен, «Колокол», 1857.

положение относительно стихотворения Некрасова «Утро». И относительно слов, «приплетенных для рифмы», и относительно того, будто Некрасов «считает, что грамматика для него необязательна». Это последнее злопыхательское обвинение Рейсер тут же подхватывает с ядовитых уст Авсеенки и о строке «Не задолжают пятак» пишет дословно: «Строка эта прежде всего неграмотная, так как по-русски следует сказать пятака». Мы можем указать Рейсеру на другого поэта, высококультурного поэта, который писал в том же падеже, позволяя себе поэтическую вольность:

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
Над ней поэт, венчанный славой,
Остановить не смеет взор.

Рейсер наивен и наивность свою пытается навязать читателю. Рейсер хочет уверить, что слово пятак «приплетено переписчиком для рифмы». Но в таком случае надо допустить, что переписчик шел по пути самого Некрасова: ведь Некрасов писал эту главу по «Запискам декабриста» Розена, изложив в стихах довольно точно эти записки. И вот мы можем уверить Рейсера, что пятак взят оттуда же, откуда и все остальное: со страниц Розена. Достаточно прочитать внимательно стр. 248—251 [20], чтобы убедиться, что выражение пятак родилось на той же странице (251), где и «Только ты им не мешай». Но Рейсер Розена не читал.

Рейсер не допускает, чтобы Некрасов нарочито подчеркивал исторический характер поэмы термином Тарбагатай. Но Некрасов был вынужден прибегать довольно часто к подобным мистифицирующим приемам. Возьмите его предисловие к «Княгине Трубецкой» [21]. В нем поэт нарочито выпячивает историческую идею своей поэмы: «Автор,— пишет он,— счел за лучшее вовсе не касаться... политической стороны...». Это был прием. В «Дедушке» применяется тот же прием, но не в предисловии, а в разночтениях.

Рейсер пишет: зачем-де было переделывать «Светочи» на «Дедушку»? — «Достаточно,— говорит Рейсер,— было бы просто уничтожить опасную рукопись...». Это соображение совсем не выдерживает критики: ведь рукопись имела уже хождение,— в этом вся суть. Разве отсутствие

---

[20] Лейпцигское издание.
[21] «Отечественные записки», 1872, кн. 4.

автографа «Гаврилиады» гарантировало Пушкина от неоднократных беспокойств из-за этой поэмы? Рейсер оспаривает самую возможность переделки «Светочей» в «Дедушку»: «Нельзя,— пишет Рейсер,— дореволюционизировать текст простым экстрагированием тех или иных строк». Здесь Рейсер снова и снова обнаруживает полное незнание тех условий, в которых приходилось работать Некрасову. Так, поэт пишет Тургеневу: «Я уже хотел посылать на-днях мою поэму в Петербург... Кончивши, начну ее портить; может, и пройдет, если вставить несколько стихов» [22]. Написав «Трубецкую», Некрасов тотчас же занялся ее «лойялизацией» для цензуры и в результате сетует: «Думаю, что в таком испакощенном виде цензура к ней придраться не может». Исследователи текстов Некрасова установили, что поэт часто практиковал позднейшее дополнение и из'ятие целых глав. Так, в «Княгиню Трубецкую», написанную в 1871 г., он ввел строфы об Италии позднее (лишь в 1873 г.), хотя написаны они были задолго до того (в 1867 г. во Флоренции), совершенно независимо от «Трубецкой». Некрасов очень часто сжимал свои произведения: «Медвежью охоту» он сократил почти вчетверо, из «Уныния» выбросил середину и пр. Некоторые купюры настолько иногда обезображивали текст, что делали бессмысленным самое произведение. Это например случилось с «Горем старого Наума», из которого была ради цензуры выброшена 3-я глава.

Далее Рейсер разоблачается до того, что не стесняется уже показывать полную свою безграмотность в вопросах общественных, и заключает: «Напомним, что рукопись «Русских женщин», произведения несравненно более опасного, чем «Дедушка», Некрасов отправлял в типографию полностью, без каких бы то ни было цензурных сокращений или автофальсификаций рукописи. Просто поэт обводил опасное место карандашом, а на полях ставил: «Не набирать», и только. И произведение печаталось и не вызывало никакой паники у поэта».

Рейсер ничего не понимает, если сравнивает «Светочи» с «Русскими женщинами», ибо в последнем произведении нет никакого преступления. С карательной точки зрения — здесь только посягательство против постановления цензуры. А «Светочи» ведь — пущенная в массы подпольная прокламация, по делу которой идут массовые аресты. Там дело касалось декабристов (для цензора это было так), а здесь — «государственного преступника» Нечаева, вчера лишь организовавшего страшное

[22] Некрасов — Тургеневу. 1856, 18/12.

«Общество топора или народной расправы». Там было мыслимое нарушение цензурных норм, а здесь политическая агитация о свержении трона и с призывом немедленной «расправы за поругание раба». Но Рейсер этого не понимает: он полагает, что «Дедушка» — это историческая поэма, попадая впросак вместе с теми цензорами, которые читали «Дедушку» и мыслили так же, как Рейсер.

Еще один аргумент Рейсера: «Дедушка»-де написан в июле, а Некрасов обычно писал свои произведения в июле и августе. А «Светочи»-де как раз попадают на осенние и зимние месяцы, когда Некрасов, дескать, не писал. Это вздор: «Медвежья охота» написана в марте, «Пропавшая книга» — в декабре, «Поэту» написано в сентябре, «Генерал Топтыгин» — в апреле и т. д.

Мы не в силах перечислить всех провалов Рейсера: для этого надо было бы исписать много бумаги. Все его ошеломляющие домыслы стоят на уровне цитированных здесь нелепостей, безграмотных ошибок, наглых нападок и пр.

Наконец, Рейсер резюмирует свои измышления. Они сводятся вот к чему: «Светочи» написаны не Некрасовым. Кем же? — Неизвестно: поэма попала к какому-то никому неизвестному Самыгину (!), который был в 1875 г. в Москве. Текст «Светочей» был «Самыгиным выучен наизусть и записан по памяти в тетрадь». Зачем понадобилось Рейсеру такое дикое, нелепое измышление? А затем, чтобы показать свою находчивость: «Светочи» содержат около 700 строк, и вот Рейсер, уверив себя, что тетрадь принадлежит Самыгину, хочет уверить читателей, что Самыгин выучил в Москве наизусть «Светочи», приехал в Иваново-Вознесенск и записал поэму по памяти. Достопочтенный Рейсер, это над вами пошутил кто-то из тех советчиков, которым вы приносите благодарность и которые ныне открещиваются от ваших изобретений. А вы и в самом деле поверили?! Еще анекдотичнее последнее сообщение Рейсера: им установлено, что Самыгин стихов не писал, и полагать, что «Светочи» написаны Самыгиным он, Рейсер, не имеет оснований... Ну, и на том спасибо [23].

[23] Подлинность поэмы «Светочи», разумеется, нуждается в проверке, но проверка эта должна быть построена не на тех приемах, к которым прибегает Рейсер. Надо было более солидно вооружиться для столь ответственной работы.

II

«Но довольно с ученым псаломщиком! Выскочил, намахал руками и — ничего не вышло».

(Достоевский — «Ряженый»)

Довольно о Рейсере. Он ничего не понял: ни творчество Некрасова ни концепция «Дедушки» ему недоступны. Он, плетясь в хвосте реакционной критики 70-х годов, полагает, что «Дедушка» — чисто историческая поэма. Отсюда все его ошибки. Можно простить ему, что он не знает точно года смерти Некрасова, что он не проверил своих измышлений, что он легкомысленно и ветренно доверился многим из излюбленных им авторитетов... Все это можно простить. Но непростительно вот что: он старается изо всех сил снизить и унизить революционную поэму «Светочи» — это первое; второе: он тщится доказать, что Некрасов не имел и не мог иметь никакого отношения к революции; третье: он,— может быть, того и не желая,— прилагает все усилия к тому, чтобы снизить и унизить и самого Некрасова.

434-й стих «Дедушки» — «Надо учиться, мой милый»,— приобретает новый смысл в «Светочах», если вспомнить, что наиболее прогрессивной частью общества в те годы была молодежь. Стихи 438 и 439 тоже звучат не зря: «Надо историю знать и географию тоже». Почему именно историю и географию?

В нечаевской «Программе революционных действий» делаются ссылки на «историю прежних революций», на «исторический закон» и пр. «Народная расправа» делает довольно обширный обзор истории революции, останавливаясь на действенных историко-революционных фактах и подвергая беспощадной критике фразеров. Не меньше внимания отводит «Программа революционных действий» и географии. «Организация,— читаем в программе,— должна быть устроена... на законе передвижения, т. е. члены ее должны переменяться местами ...что необходимо как потому, что требуется усиление деятельности в различных местах... так и потому, что подобная деятельность одного и того же лица, постоянно в одной и той же местности, немедленно поведет за собой слишком сильную огласку...» И дальше снова даются чисто географические директивы, имеющие стратегический и тактический характер («по направлению к западной границе, до Динабурга,— путь важный для эмиграции» и т. д.). Стих 436 «Зорче кругом погляди» очень

напоминает то место «Програмы...», где предлагается «вдуматься в окружающее». Стихи «Светочей» «С этою верой когда-то вышли... Но враг одолел» напоминают то место «Народной расправы», где говорится, что предприятие декабристов не увенчалось успехом. Стих «Вечный удел видеть и пытки и казни тем, кто всегда впереди» почти дословно повторяет «Катехизис революционера»: «Он (революционер) каждый день должен быть готов к смерти, он должен приучить себя выдерживать пытки». И еще: «...Не боясь ни пыток ни заключений...»

Заканчиваются «Светочи» научно-мотивированным бодрым утверждением: «Не остановишь случайно хода истории нить...» Рейсер зубоскалит по поводу этих строк: дескать, для того, чтоб написать их, Некрасов должен был изучать Маркса. Но Рейсер не знает того, что строки эти лишь повторяют мысль, изложенную в «Програме революционных действий». Сославшись на опыт других революций, «Програма...» предлагает их «признать за исторический закон... Народ сознает, что право и сила на его стороне, а тогда победа будет за нами. Этот исход неизбежен... закон остается законом...»

Стих «Близок конец лихолетья, если начало уж есть» напоминает то место «Народной расправы», где говорится: «Дело Каракозова надо рассматривать как пролог. Постараемся, чтобы поскорее наступила и самая драма». Стихи «Расплата явится» и «Близится время расплаты за поруганье раба» по духу совсем созвучны нечаевским революционным документам, где мы находим перечни общественных слоев и должностей, подлежащих экспроприации и «истреблению без всяких рассуждений». Стихи «сытые, праздные, мимо не обернувшись, пройдут» не напоминают ли нечаевскую прокламацию: «Вы будете крепки, друзья, когда очиститесь от этой сволочи, разжиревшей от сытых блюд...»? Продолжать подобные сопоставления можно и дальше. Но мы ограничимся приведенными.

Поэма «Светочи» обнаружена в иваново-вознесенском частном архиве. В нашей статье «Загадочный документ» мы подробно описали связь той неразгаданной тетради, в которой найден текст «Светочей», с лицами, жившими на рубеже 60-х—70-х гг. в Иваново-Вознесенске и имевшими какие-то сношения с Нечаевым. Из текста поэмы также можно заключить, что автор ее был знаком с нечаевскими материалами. Может быть, поэма имела назначением быть стихотворной прокламацией?

«Светочи» отличаются от некрасовского «Дедушки» дополнительными 214 стихами и некоторыми разночтениями. И дополнительные

строки и разночтения эти весьма странны: они свидетельствуют о том, что автор «дополнений» и разночтений знал черновики Некрасова и его замыслы; что автор «дополнений» шел по тому же творческому пути, что и Некрасов, что он изучал те же материалы, и пр. Таким образом, возникает предположение, почти уверенность, что автором «Светочей» можно считать Некрасова (см. «Загадочный документ»).

Вышеупомянутый корректурный листок с выброшенными впоследствии восемью строками «Размышлений у парадного под'езда» по содержанию напоминает 8 строк «Светочей» (стихи 241—248), которыми заменены соответствующие стихи (129—136) «Дедушки». Замысел здесь один и тот же, но ведь фальсификатор (если это сделал фальсификатор) не мог знать о перечеркнутой Некрасовым корректуре. Ясно, что автором и тех и других строк было одно и то же лицо, в складках поэтической памяти которого через десяток лет возник тот же мотив,— мотив не реализованный и вновь настойчиво пробивающийся.

В статье «Загадочный документ» было показано, что фальсификатор должен был бы знать тайные замыслы Некрасова, похороненные в черновике «Дедушки». В этом черновике остались похеренными строки о радостном восприятии родных мест. Зато в «Светочах» это радостное переживание сохранено полностью. Еще более убедительно то обстоятельство, что в черновой рукописи дедушка наделен чертами сурового мстителя. В общеизвестном тексте «Дедушки» от них не осталось и следа, зато в «Светочах» мотив мести и расплаты повторяется не раз. Опять надо удивляться, каким образом автор «Светочей», если это не Некрасов, мог добраться до черновика Некрасова?

Революцию в те годы делала молодежь. Саша и символизирует молодое поколение. «Народная расправа» останавливается на декабристах и показывает, что в их лице русская история имела довольно серьезную попытку политического переворота. Нечаев, отдавая должное декабристам, вместе с тем показывает их слабость, заключающуюся в том, что они не могли и не хотели связаться с народными массами. Людей 40-х годов он считает людьми фразы. Некрасову эта концепция была всегда близка: он не только осмеял «диалектиков обаятельных» в стихах, но и порвал с ними, сблизившись навсегда с «молодым поколением». И вот «Светочи» вносят корректив во взгляды декабристов: Саша получает уроки опрощения и сближения с народными массами. Имеется ли отражение этой концепции в «Дедушке»? — Весьма отда-

ленное. Зато в черновом автографе находим отвергнутую строчку: «Как-то особенно просто ходит, глядит, говорит...» В этих словах намечается мотив опрощения, получающий дальнейшее развитие в последующих строках «Светочей». Так устанавливается связь между черновиком «Дедушки» и «Светочами», а раз такая связь существует, то искать ее происхождение можно лишь в одном: автор перечеркнутых строк «Дедушки» и автор «Светочей» — одно и то же лицо.

Все эти нити связи Рейсер обходит молчанием. Вообще надо сказать, что Рейсер полемизирует весьма странно. Он избрал об'ектом спора лишь второстепенные мои аргументы, а главные оставлены им без внимания. Он прошел молча мимо них. Так, он сделал вид, что не понимает всей вескости разночтения в строке «трудолюбивый» народ. Стих 204 «Дедушки» читается: «Ну, уж зато и народ». В «Светочах» этот стих средактирован иначе: «трудолюбивый народ». Откуда же фальсификатор (если допустить фальсификацию) взял слово трудолюбивый? — Да оттуда же, откуда Некрасов взял весь материал для тарбагатайской главы из «Записок декабриста» Розена, где на каждой странице Розен твердит о трудолюбии тарбагатайских раскольников. Все эти обстоятельства, столь существенные для уяснения связи «Светочей» и «Дедушки», Рейсер обходит молчанием, а взамен того занимается какими-то анекдотическими пустяками. Точно так же замалчивает он невольно возникающее недоумение перед пунктирной строкой в главе 13-й «Дедушки». Именно после 248-го стиха поэмы поэт оставил зияющий разрыв, обозначенный строкою точек. С замечательной закономерностью устанавливается нынче такое обстоятельство: где у Некрасова стоят точки, там, в тех именно местах, обнаруживаются новые тексты, почему-либо не вошедшие в опубликованный в свое время текст. Это имеет место в целом ряде произведений. «Горе старого Наума», «Праздному», «Русские женщины» и др. подтверждают это. Строка точек 13-й главы «Дедушки» натурально заполнена соответствующим текстом «Светочей».

Мы не станем здесь повторять тех аргументов, которые нашли место в нашей статье «Загадочный документ». Аргументы эти Рейсером не поколеблены, а главнейшие и самые веские просто обойдены молчанием.

Таким образом, волнующая проблема о связи Некрасова с самой боевой группой революционеров своего времени, с нечаевцами, не поколеблена.

строки и разночтения эти весьма странны: они свидетельствуют о том, что автор «дополнений» и разночтений знал черновики Некрасова и его замыслы; что автор «дополнений» шел по тому же творческому пути, что и Некрасов, что он изучал те же материалы, и пр. Таким образом, возникает предположение, почти уверенность, что автором «Светочей» можно считать Некрасова (см. «Загадочный документ»).

Вышеупомянутый корректурный листок с выброшенными впоследствии восемью строками «Размышлений у парадного под'езда» по содержанию напоминает 8 строк «Светочей» (стихи 241—248), которыми заменены соответствующие стихи (129—136) «Дедушки». Замысел здесь один и тот же, но ведь фальсификатор (если это сделал фальсификатор) не мог знать о перечеркнутой Некрасовым корректуре. Ясно, что автором и тех и других строк было одно и то же лицо, в складках поэтической памяти которого через десяток лет возник тот же мотив,— мотив не реализованный и вновь настойчиво пробивающийся.

В статье «Загадочный документ» было показано, что фальсификатор должен был бы знать тайные замыслы Некрасова, похороненные в черновике «Дедушки». В этом черновике остались похеренными строки о радостном восприятии родных мест. Зато в «Светочах» это радостное переживание сохранено полностью. Еще более убедительно то обстоятельство, что в черновой рукописи дедушка наделен чертами сурового мстителя. В общеизвестном тексте «Дедушки» от них не осталось и следа, зато в «Светочах» мотив мести и расплаты повторяется не раз. Опять надо удивляться, каким образом автор «Светочей», если это не Некрасов, мог добраться до черновика Некрасова?

Революцию в те годы делала молодежь. Саша и символизирует молодое поколение. «Народная расправа» останавливается на декабристах и показывает, что в их лице русская история имела довольно серьезную попытку политического переворота. Нечаев, отдавая должное декабристам, вместе с тем показывает их слабость, заключающуюся в том, что они не могли и не хотели связаться с народными массами. Людей 40-х годов он считает людьми фразы. Некрасову эта концепция была всегда близка: он не только осмеял «диалектиков обаятельных» в стихах, но и порвал с ними, сблизившись навсегда с «молодым поколением». И вот «Светочи» вносят корректив во взгляды декабристов: Саша получает уроки опрощения и сближения с народными массами. Имеется ли отражение этой концепции в «Дедушке»? — Весьма отда-

ленное. Зато в черновом автографе находим отвергнутую строчку: «Как-то особенно просто ходит, глядит, говорит...» В этих словах намечается мотив опрощения, получающий дальнейшее развитие в последующих строках «Светочей». Так устанавливается связь между черновиком «Дедушки» и «Светочами», а раз такая связь существует, то искать ее происхождение можно лишь в одном: автор перечеркнутых строк «Дедушки» и автор «Светочей» — одно и то же лицо.

Все эти нити связи Рейсер обходит молчанием. Вообще надо сказать, что Рейсер полемизирует весьма странно. Он избрал об'ектом спора лишь второстепенные мои аргументы, а главные оставлены им без внимания. Он прошел молча мимо них. Так, он сделал вид, что не понимает всей вескости разночтения в строке «трудолюбивый» народ. Стих 204 «Дедушки» читается: «Ну, уж зато и народ». В «Светочах» этот стих средактирован иначе: «трудолюбивый народ». Откуда же фальсификатор (если допустить фальсификацию) взял слово трудолюбивый? — Да оттуда же, откуда Некрасов взял весь материал для тарбагатайской главы из «Записок декабриста» Розена, где на каждой странице Розен твердит о трудолюбии тарбагатайских раскольников. Все эти обстоятельства, столь существенные для уяснения связи «Светочей» и «Дедушки», Рейсер обходит молчанием, а взамен того занимается какими-то анекдотическими пустяками. Точно так же замалчивает он невольно возникающее недоумение перед пунктирной строкой в главе 13-й «Дедушки». Именно после 248-го стиха поэмы поэт оставил зияющий разрыв, обозначенный строкою точек. С замечательной закономерностью устанавливается нынче такое обстоятельство: где у Некрасова стоят точки, там, в тех именно местах, обнаруживаются новые тексты, почему-либо не вошедшие в опубликованный в свое время текст. Это имеет место в целом ряде произведений. «Горе старого Наума», «Праздному», «Русские женщины» и др. подтверждают это. Строка точек 13-й главы «Дедушки» натурально заполнена соответствующим текстом «Светочей».

Мы не станем здесь повторять тех аргументов, которые нашли место в нашей статье «Загадочный документ». Аргументы эти Рейсером не поколеблены, а главнейшие и самые веские просто обойдены молчанием.

Таким образом, волнующая проблема о связи Некрасова с самой боевой группой революционеров своего времени, с нечаевцами, не поколеблена.

«Некрасов — самый отчаянный коммунист... Он страшно вопиет в пользу революции» [24] — так звучал донос Булгарина в Третье отделение. Это писал сикофант. Но что Некрасов был другом Чернышевского и М. Л. Михайлова — это факт. Достоевский остановился в недоумении перед разверстой могилой Некрасова и промолвил: «Загадочный человек». И Михайловский приходил к тому же выводу и многие, многие другие. В самом деле: кто же он?

Он имел какие-то таинственные связи со студентами, но не любил, чтоб об этом говорили (из воспоминания О. С. Чернышевской). Во время его смертельной болезни полиция караулила его кончину, и домохозяин Краевский заявлял: «Я каждый день по нескольку раз посылаю дворника в Третье отделение... да кроме того и обер-полицмейстеру велено сейчас же дать знать, как только он помрет» (из воспоминаний П. Ефремова). В стихотворении «Отрывок» слышится слово в защиту революционного террора. Революционных деятелей Некрасов ставил неизмеримо выше, нежели мирных реформаторов. Стихотворение «Смолкли честные» было напечатано в подпольной газете «Земля и воля» и, говорят, было посвящено «подсудимым процесса пятидесяти», по крайней мере так сообщала «Земля и воля», и пр. и пр.

Но этот же Некрасов был очень осторожен, осторожен до трусости и сам же этим мучился. «Нам, русским писателям,— говорил он,— надо пуще всего остерегаться чувства страха. Многие из нас писали бы гораздо лучше, если бы нам не мешало это ужасное чувство. Сидит например человек и пишет, и на конце пера его у него прекрасное слово, такое слово, которое в десять раз лучше всего, что он в жизни написал, но возьмет, да и побоится его написать, думает: «А ну, как войдут жандармы, схватят...» и возьмет, да и сподличает, не напишет своего слова...» [25] Вот это самое и составляло его загадочность. Человек он был страстный, азартный, увлекающийся. При под'еме общественного движения он увлекался, а потом пугался и праздновал трусу».

Нечаев был полон классовой злобы. На суде он держал себя, как плененный орел. Бакунин называл его «мой тигренок». Он утомлял всех своей яростной революционной энергией. Он весь кипел напряженной ненавистью. Могла ли эта злоба нравиться постепеновцам? — Нет, и они все в один голос клеветали на Нечаева. Могла ли классовая ненависть отпугнуть Некрасова? В 1856 г., когда дворянская литература опол-

[24] «Былое», 1906, X.
[25] Воспоминания о Некрасове Безобразова.

чилась на Чернышевского, Некрасов выговаривал Л. Н. Толстому за его отношение к Чернышевскому и между прочим писал ему: «Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас немало к ней поводов. И когда мы начинаем больше злиться, тогда будем лучше...» [26]

Вот каков был Некрасов. Мы знаем, как он мучил себя, как самоистязался за то, что не мог отдаться всецело революции.

Пути, утоптанные гладко,
Я пренебрег, я шел своим путем,
Со стороны блюстителей порядка
Я, так сказать, был вечно под судом.

И рядом с ним — такая есть возможность —
Я знал другой недружелюбный суд,
Где трусостью зовется осторожность,
Где подлостью умеренность зовут...

Меж двух огней я шел неутомимый.
Куда пришел?..

(«Уныние»).

Эта двойственность и составляла загадочность Некрасова. И вполне мыслимо, что он мог написать революционную поэму и так же точно допустимо, что он мог отречься от нее или для печати, как сам выражался, «испакостить» ее. Пламенный агитатор и яростный, неутомимый организатор Нечаев мог найти пути к Некрасову. В нечаевской «Программе революционных действий» прямо указывалось на необходимость привлекать «специалистов из лучших литераторов», а Нечаев не принадлежал к тем людям, у которых слово расходилось бы с делом. Между тем популярность Некрасова была до того велика, что сейчас даже трудно себе представить это. Втечение 70-х годов стихи его выдержали пять изданий. После его смерти втечение семи лет — четыре издания. Успех его первого собрания сочинений был потрясающим. «Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех» — писал Чернышевский. По отзывам мемуаристов авторитет Некрасова был велик в столицах, но еще больше он был в провинции. Н. Морозов, Л. Дейч, Г. Плеханов подтверждают это. В списках запретной литературы, в секретных и тайных библиотеках

[26] Некрасов — Толстому 22 июля 1856, «Круг», 1927, кн. 6, стр. 199—200.

всегда находили и книги Некрасова. Революционеры и радикалы постоянно цитировали Некрасова. Известная студенческая прокламация «Союза об'единенных землячеств» начиналась с четверостишия: «Душно без счастья и воли», и т. д. и т. д. Все это вполне естественно, потому что «Некрасов явился поэтическим выразителем целой эпохи нашего общественного развития. Эта эпоха начинается выступлением на нашу историческую сцену образованного «разночинца» («интеллигенции» тож) и оканчивается появлением на этой сцене рабочего класса, пролетариата» (Г. Плеханов). Все это убеждает в том, что выбор Нечаева или нечаевцев мог остановиться именно на Некрасове. А поэт как раз страдал от болезненных самобичеваний после истории с муравьевской одой. 1868 г., отмеченный оживлением студенческих движений, свидетельствует о том, что Некрасов не остался чужд общественному под'ему: именно этот год отмечен рядом революционных стихов Некрасова: «Душно без счастья», «Мать», «Еще тройка», «Не рыдай»,— все это написано именно в 1868 г. И в это время как раз, когда он переживал под'ем настроения, Жуковский и Антонович выпускают (в 1869 г.) злопыхательскую, грубую, пасквильную книжонку, в которой выставляют Некрасова ренегатом. Столкновение внутреннего настроения с этой внешней грубостью раздирало поэта, и, может быть, именно это настроение и родило революционную поэму «Светочи» (написана в 1869 г.).



Спор из-за Некрасова надо рассматривать в действии современных процессов классовых противоречий. Позиция Рейсера разоблачена. Он принадлежит к буржуазным эстетам, к той общественной группе, которая обречена и чувствует свой социальный закат. «О вкусах,— говорит Рейсер,— не спорят». Это пошлятина: вкусы являются таким же плацдармом классовых схваток, как и вся психо-идеологическая надстройка. Рейсер, опираясь на свой вкус, отвергает революционную поэму «Светочи» и отвергает Некрасова. Для сего, чувствуя слабость своей позиции, он пускается на передержки и фальшивые утверждения. Все это вместе взятое свидетельствует о том, что идеология Рейсера и ему подобных чужда пролетариату и враждебна революционной современности.

P. S. Нельзя пройти мимо такого факта. В вышедшем II томе полного собрания сочинений Некрасова (Госиздат, редакция В. Евгеньева-Максимова и К. Чуковского) «Светочи» не удостоились даже

упоминания, хотя бы в скромной форме примечания. Такое упорство редакторов может быть понято только как неприкрытое старание отмежеваться от революционных стихов Некрасова.

Правда, Демьян Бедный получил от редакторов, как он выражается, «спешно-запоздалое сообщение», в котором они признают новонайденную рукопись «Светочей» серьезным литературным фактом, с которым нельзя не считаться и освещению которого в последующих томах будет отведено место.

В своей статье Рейсер благодарит П. Щеголева за оказанную ему помощь. По этому поводу сообщим: справедливость вынуждает нас заявить, что Щеголев категорически отмежевывается от всех, кто приписывает ему иное мнение, чем то, которого он держался с самого начала и держится сейчас, т. е. что «Светочи» принадлежат Некрасову.

П. М. Соболев

ОБРАЗ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО РАБОЧЕГО В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ XIX В.

I

В изучении песенной продукции фабрики и о фабрике исследователь поставлен в затруднительное положение, так как эта продукция представлена ничтожным количеством записей.

Дело конечно не в том, что фабрично-заводской песенный репертуар по количеству не представлял сколько-нибудь заметного явления среди других социальных ветвей фольклора. Наоборот, с 30-х годов прошлого века постоянно раздаются жалобы на вытеснение старинной крестьянской песни, даже в глухих «медвежьих» уголках, каким-то новым песенным материалом, в том числе и поэтической продукцией фабрики. Во второй половине XIX в. эти жалобы нередко носят характер истерического вопля: «Пролегло шоссе, прошла железная дорога — народ бросает свои песни. Пришел фабричный в село — девки и ребята запели новомодную пошлость»[1]. Д. И. Успенский сетует, что «влияние города и фабрики, как зараза, распространилось и на глухие деревушки: в настоящее время нет ни одного поселка, в котором оно не коснулось бы своим тлетворным дыханием прежнего строя жизни. Симптомы этой все более и более прививающейся к крестьянскому населению болезни повсюду одни и те же: свобода в отношениях полов, ослабление родительской власти и религиозности, развитие моды в одежде, увеличение удовольствий, замена старых песен новыми и появление типов городской бедноты, жалких по виду и нравственному убожеству»[2].

Об'яснение ничтожному количеству записей песенного репертуара фабрики нужно искать в истории фольклористики как науки. Не имея возможности по недостатку места остановиться на выяснении причин, вследствие которых фабрично-заводская устная поэзия всегда остава-

[1] Н. М. Лопатин и В. П. Прокунин — Сборник русских народных лирических песен, часть I, М, 1889, стр. 25.

[2] Д. И. Успенский — Фабричная поэзия, «Книжки недели», 1895, сентябрь, стр. 10—11 (разрядка наша. — *П. С.*).

лась и теперь еще остается заброшенным участком фронта в нашей науке, мы ограничимся лишь констатированием самого факта.

Уже первый этап в истории русской фольклористики оказался крайне неблагоприятным в смысле отсутствия интереса к устно-поэтической продукции фабрики и завода [3]. Проходили десятилетия, мифологическая школа уступила место другим научным направлениям, а отношение к устной поэзии оставалось все тем же: альфой и омегой собирательских опытов и научных исследований признавался все тот же крестьянский фольклор, и притом в наиболее архаических своих проявлениях. Если иногда ученый и заявляет, что «мы были бы до крайности односторонни, если бы ценили в песнях только их относительную древность, мало давая цены новейшим песням», то он все же, скрепя сердце, только по необходимости мирится с новыми запросами «народа», т. е. крестьянства, которое «или переделывает свои старые песни на новый лад, или складывает новые, подчиняя свое вдохновение влиянию барского двора, фабрики, городского кабака или современного острога, подлаживаясь притом, насколько умеет, и ко вкусу той среды, которую считает выше себя по образованию» [4]. О самостоятельных некрестьянских струях устной поэзии здесь нет и речи.

Без боязни погрешить против истины можно сказать, что под терминами фольклор, устная поэзия и теперь еще мыслится преимущественно поэтическая продукция деревни, причем наиболее ценными в крестьянском фольклоре для исследователя продолжают оставаться обломки (нередко создаваемые в ученом бреду) того поэтического мира, в котором «жили при Аскольде наши деды и отцы». Очень показательна в этом отношении недавно вышедшая книжка проф. Б. М. Соколова. Автор совершенно справедливо полагает, что термин «народная словесность», наиболее распространенный у старых исследователей, должен быть изгнан из научного обихода, и главным образом потому, что «слово «народный» лишено отчетливой классовой характеристики». Необходимость этого остракизма сделалась особенно очевидной «с развитием социологического, марксистского метода, требующего большей определенности в отношении к социалистическим понятиям». Над

[3] См. нашу статью «Новые задачи в изучении фольклора», «Революция и культура», 1929, № 1, стр. 40—41.

[4] Н. И. Костомаров—Великорусская народная песенная поэзия (по вновь изданным материалам), собр. соч., кн. 5, т. XIII, СПБ, 1904, стр. 533—534, разрядка наша.—*П. С.*)

Б. М. Соколовым уже не тяготеет «господство... обветшалых теорий в фольклористике», являющихся пережитками «романтически-мифологических, а позднее славянофильских и народнических взглядов». Для него совершенно ясно, что в наше время было бы смешно говорить о наличии какого-то и когда бы то ни было существовавшего «народа вообще» как чего-то социально-недиференцированного, классово не расчлененного целого»; далек Б. М. Соколов и от романтически-мифологических славянофильски-народнических представлений, в которых «народное»... сливалось с «простонародным», а это последнее отождествлялось с «крестьянским». Отсюда — попытка выяснить, «когда и в какой социальной среде созданы произведения фольклора». Но, показывая «многообразие словесных художественных устных произведений, об'единяемых в одном понятии фольклора, в частности фольклора русского», Б. М. Соколов перечисляет исключительно жанры крестьянской устной поэзии. Относительно устно-поэтического репертуара фабрики и завода автор ограничивается кратким указанием на то обстоятельство, что «созданию и росту фабрично-заводского пролетариата сопутствует создание своего рабочего фольклора, начиная с периода полукрестьянского, полурабочего и кончая уже периодом оформившегося городского пролетариата». Это указание является частью невероятнейшего винегрета, долженствующего представлять собой картину социологической диференциации фольклора. В хаотической свалке разнообраных устно-поэтических фактов, щедро нагроможденных Б. М. Соколовым, не только не видно и тени «определенности в отношении к социологическим понятиям», но даже отсутствует и элементарное правило единства деления, обязательное для всякой научной классификации: фольклор «разбойников», фольклорные циклы, создававшиеся эпохами народных революционных движений старого времени (разиновщина, пугачевщина и др.); фольклор «тюремный», фольклор «солдатский» (жанры, выдвинутые рекрутчиной); фольклор «мещанский», купеческий, «трактирно-цыганский», фольклор дворни, «лакейский», произведения «семинаристов», фольклор «бурлацкий», фольклор (бурсацкий?) вообще студенческий; революционные песни, создавшиеся среди революционно настроенной молодежи; фольклор нашей эпохи: рабочий, революционный, фольклор комсомола, красноармейский фольклор, фольклор партизан, фольклор «беспризорных» — «блатный» фольклор [5].

[5] Б. М. Соколов — Русский фольклор, вып. II, издание Бюро заочного обучения при II МГУ, М., 1929, стр. 3—11.

Таким образом, стремление Б. М. Соколова избавиться от поэтического очарования «нашего доброго народа» оказалось по приводимой им же самим на стр. 19 «Русского фольклора» пословице «и красно и цветно, да линюче». Что касается других фольклористов, а также ученых обществ и учреждений, то они в большинстве случаев даже и не пытаются разрушать установившихся традиций, попрежнему направляя «пытливый ум» и собирательскую энергию в область крестьянской устной поэзии [6].

Сделав необходимые оговорки относительно материала, которым располагает исследователь песенного фольклора, так или иначе связанного с фабрично-заводской почвой, попытаемся дать социологический анализ образа рабочего, каким он представлен в этой разновидности устной поэзии.

II

Во второй половине XVIII в., ближе к концу его, в России наблюдается быстрый рост фабричной и кустарной промышленности.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в сфере кустарной промышленности особое место занимало городское ремесло [7] и «что «кроме крестьян на мануфактуре работали и выходцы из городского мещанства, поставлявшего учеников и квалифицированных рабочих [8], необходимо признать, что, с одной стороны, «рост промышленности, проникновение в деревню кустарных промыслов изменили старую крестьянскую жизнь, из крестьянина создали новый тип фабричного рабочего и фабричного «мастерка» [9], а с другой — с несомненностью констатировать, так сказать, и «офабричивание» мелкой городской буржуазии.

«Фабрика создавала в деревне свой рынок рабочей силы и рынок товаров. Крестьянин становился «удалым фабричным», каким его рисуют нам современники: он не носил уже домотканной холстины, а носил миткаль

---

[6] Б. М. Соколов — Работа по русскому фольклору за революционный период — «Этнография», 1926, № 1—2, стр. 153—178. См. также отдел хроники в этом журнале.

[7] Н. А. Рожков — Развитие экономических и социальных отношений в России XIX в. Из русской истории (очерки и статьи), II, СПБ, 1923, стр. 7.

[8] В. С. Зельцер — Прохоровы и «Прохоровка» в 30 — 40-х гг. XIX в. «Ученые записки» Института истории РАНИОН, т. V, М., 1928, стр. 417.

[9] В. С. Зельцер — У истоков фабричной поэзии, «Литература и марксизм», 1928, кн. 5, стр. 108 (разрядка автора. — *П. С.*).

и коленкор. Он считал крестьянскую работу «недостойной» себя [10], он уходил на заработки в Питер и Москву [11]. «Сама деревня начинает уже выделять рабочих в особую социальную категорию. Так, в селе Остафьеве, где была крепостная суконная фабрика, число крестьян в 1768 г. было 112 чел. мужского пола. В церковных записях наряду с крестьянами и дворовыми отдельно упоминаются «фабришные» [12]. А. Степанов на основании ряда документов дает прекрасную характеристику «фабричного» второй половины XVIII столетия, каким он представлялся постороннему наблюдателю: бесшабашный разгул, независимость характера, «предерзостное» отношение к начальству,— вот те черты, которыми рисуют нам «фабричного» официальные источники [13].

Оппозиционным настроением по отношению к светским и духовным властям особенно отличались городские рабочие, мещанская часть которых не имела никаких отношений к деревне, а крестьянская была меньше связана с землей, чем деревенские рабочие-кустари. Из второй половины XVIII в. идет ряд жалоб на разухабистый характер поведения и развлечений «работных людей» города, выбивающихся из-под авторитета вековых традиций. «В 1760 г. февраля 23 дня... смотрители благочиния Замоскворецкого сорока, священники: Ризположенский, Семен Филиппов и Екатериненской на Ордынке Семен Савин, донесли Консистории, что усмотрено ими в том сороке, в приходе Николая Чудотворца, что в Берсеневке, близ самого большого суконного двора, на сырной неделе, сделана была гора того суконного двора работными людьми вниз на Москву реку, которая убрана была елками, и на той горе из тех работных людей многие были наряжены в разные бесовские одеяния и чудовища. И между теми наряженными людьми один был работный человек в посмеяние и поругание священного чина одеян в монашескую одежду, имея в правой руке посох, а в левой вместо четок — моржевый ремень, который скакал и плясал и ремнем оным народ с показанной горы гонял, что весьма безобразно и поносительно чину священному,

---

[10] В. С. Зельцер — У истоков фабричной поэзии, «Литература и марксизм», 1928, кн. 5, стр. 108.

[11] Там же.

[12] П. С. Шереметьев—Крепостная суконная фабрика в селе Остафьеве, 1768—1861. Московский край в его прошлом. Очерки по социальной и экономической истории XVI—XIX вв., под ред. проф. С. В. Бахрушина. Труды о-ва изучения Московской губ., вып. I, М, 1928, стр. 98.

[13] А. А. Степанов—Крестьяне-фабриканты Грачевы, «Записки Историко-бытового отделения Гос. русск. музея», т. I, Лнг., 1928.

и монашескому. А содержатели оных работных людей и командующие гг. офицеры, оное видев богомерзкое дело, не пресекали» [14].

Развитие фабричной и кустарной промышленности, породившее новый социальный характер «фабричного», «работного человека», не могло конечно не сказаться и в фольклоре. Здесь прежде всего должна была обнаружиться известная трансформация устной поэзии деревни и городского мещанства, а затем появиться и новая социальная ветвь фольклора — устно-поэтический репертуар фабрики как создание рабочего класса на первом этапе его общественного бытия. К сожалению, нам почти ничего не известно из устно-поэтической продукции XVIII в., имеющей то или иное отношение к фабрике. Приведем здесь одну такую песню, помещенную в «Новом российском песеннике» 1791 г. [15] и перепечатанную А. И. Соболевским [16]:

Близко, близко городочка,
Близь зеленого садочка,
Близко зеленого сада,
Близь города Ярославля,
Недалече от реки,
Початой слободы,
На прекрасе-красоте,
На высокой на горе,
На высокой на горе
Стоял фабричек большой.
В том фабричке ребята —
Удалые молодцы,
Удалые молодые,
Не женаты, холостые.
Собиралися ребята
С того фабрика гулять
На прекрасу-красоту,
На высокую гору;
Садилися по краю,
Близь зеленого сада,
Близко зеленого сада,
Близь города Ярославля;
Садилися песни пели,
Соловьям свистать велели:
«Соловьюшки, свищи!
Разгуляться к вам пришли!»
Соловьюшки свистали,
Молодцов всех утешали.
Как у нас было, ребята,
В Ярославле городе,
В Ярославле городе,
Во Толчковой слободе,
У солдатки у вдовы,
У солдатки у вдовы
Были девки хороши,
Был Васильюшка-сынок,
Ковры ткать мастерок;
Ковры точет-вытыкает
И наборы набирает;
Он горазд письма писать,
Горазд грамотки читать.
При компанье пребывает,
Сам во скрипочку играет.
Заиграли на скрипице
Для души красной девицы,
Для школьныя, манерныя,
Для Пашеньки вдовиной!
Говорила Паше мать

---

[14] Ф. В. Ливанов — Раскольники и острожники, очерки и рассказы, т. III, СПБ, 1872, стр. 485—486.

[15] Новый российский песенник (три части), СПБ, 1791, т. III, стр. 33 и след.

[16] А. И. Соболевский — Великорусские народные песни, т. VI, СПБ, 1900, № 553.

Уговаривал и брат:
— Полно, Пашенька, уймись,
С молодцами не водись!
Доведут тебя ребята
До славушки до худой!
— Хоть худой славы добиться,
А со всеми поводиться!

Приведенная песня только на первый взгляд дает как бы расщепление образа «работного человека»: с одной стороны, это будут «фабричные ребята, удалые молодцы», с другой — «Васильюшка... ковры ткать «мастерок», «гораздый» писать и «грамотки читать», «душа общества», который «при компанье пребывает, сам во скрипочку играет». В этой «компании» забавляют «школьную, манерную» Пашеньку. Более внимательный анализ вскрывает одну и ту же социальную природу всех этих образов. Мещанская основа песни обнаруживается без труда, в особенности в образах Васильюшки и «школьной, манерной» его сестры. Это — «благопристойные» мещане, старающиеся подражать в своем жизненном обиходе барам, но наивностью этого подражания постоянно выявляющие свои крестьянские корни, из которых вырастала мелкая городская буржуазия. Ту же двойственность образов и поведения персонажей мы находим в «жестоком романсе», так характерном для городского мещанства второй половины XVIII в. Например, в романсе «Вечор я, младешенька, в компании была» «хороший молодчик», которого девушка «в любовь себе брала»,— такой же «политичный в поступках» и «тороватый во всех делах» мещанин, как и Васильюшка-мастерок [17]. Последний — не фабричный рабочий, а самостоятельный мастер-кустарь, владелец небольшого заведения.

Чисто внешнее отношение к фабрике имеют и фабричные «ребята»: они изображаются в песне как городские обыватели, не в процессе фабричного труда, а на фоне типичных мещанских развлечений.

Если мать и брат девушки и уговаривают ее «не водиться с молодцами», то подобная мера предосторожности вытекает не из природы отпетого фабричного озорника, как это мы увидим в песенном фольклоре более позднего времени, а из обычных норм мещанского поведения.

Таким образом, в связи с психологией городского мещанства, еще не втянутого в «потогонную» атмосферу жизни «работных людей», круг фабричных отношений наслоился в данной песне только внешними чертами.

Отсутствие материала исключает возможность более точных выво-

---

[17] См. нашу статью «Песенники 90-х годов XVIII в.», «Литература и марксизм», 1928, кн. 6, стр. 92–94.

дов относительно характера устной поэзии XVIII в., имевшей то или иное отношение к фабрике, хотя вышеприведенные соображения свидетельствуют о полной возможности появления к концу XVIII столетия различных социальных устремлений в песнях фабрики и о фабрике.

Более или менее значительная по количеству группа песен, создавшихся среди фабричных рабочих и кустарей или под влиянием фабричной и кустарной промышленности, относится к записям 30-х годов XIX в., что совпадает с развитием у нас собирательской работы в области фольклора (например с деятельностью П. В. Киреевского). Здесь интересно наблюдение, сделанное В. З. Зельцером. Оказывается, что «в записях от 30-х до 70-х годов... мы встречаем варианты в основном почти тех же песен, частью записанных в деревнях и селах, иногда восходящих к концу XVIII в. Это вполне соответствует процессу формирования нашего рабочего класса из крестьянства в эти же примерно годы» [18].

Среди устно-поэтической продукции этого времени особую группу составляют песни, которые только в зачине упоминают о заводе:

Вы, заводы ль мои, вы, кирпичные,
Вы, кирпичные, горемычные!
Уж и кто этот завод завел?
Заводил этот завод добрый молодец,
Добрый молодец Иван Федорыч;
Разоряла-то завод душа красна-девушка,
Красна-девушка Пелагеюшка... [19]

Вы, заводы ли мои, заводы,
Вы, хвабришныи, горемышныи!
Что завел-то заводы добрый молодец;
Разорила заводы красная девушка,
Красная девушка Пелагеюшка... [20]

В дальнейшем песня, с незначительными различиями по вариантам, представляет развитие самых обычных для крестьянской лирики мотивов, с характерными для песенного фольклора деревни элементами природных образов. Девушка,

Разорёмши завод, сама в лес пошла,
Сама в лес пошла по калинушку,
По калинушку девка, по малинушку.
Не в лесу ли, не в лесу девка заблудилася,
На рябинушку девка загляделася,

---

[18] «У истоков фабричной поэзии», стр. 113 (разрядка автора.—*П. С.*).

[19] Песни, собранные П. В. Киреевским, новая серия, вып. II, ч. 1. № 1526. Вар.— ibid, вып. II, ч. 12, печатающаяся в настоящее время и выходящая под ред. акад. М. Н. Сперанского, которому приносим глубокую благодарность за предоставленную возможность пользоваться корректурными оттисками этой части новой серии (*П. С.*), № 1638; Соболевский, т. VI, №№ 239 и 240; Шейн—Великорусс, т. I, вып. I, № 720.

[20] Киреевский, новая серия, вып. II, ч. 21, № 1749; вар.—Соболевский О. С., т. VI, №№ 238 и 241.

На кудрявую девка засмотрелася.
Ты, рябина ли моя, ты, кудрявая,
Ты, кудрявая моя, моложавая,
Ты не стой-ка, не стой на крутой горе,
На крутой горе близко ко быстрой реке,
Ко быстрой реке, к Волге-матушке.
Как придёт-та, придет весна красная,
Весна красная, лето теплое,
Обогреет тебя красно солнышко.
Как польет-то, польет с крутых гор вода,
Как подмоет-то все твои кореньицы [21]

Здесь мы еще не видим образа фабрично-заводского рабочего; но «завод», как новый фактор экономического развития страны, властно ворвавшийся в жизнь деревни, уже не может быть обойден молчанием и в крестьянской песне.

По мере того как деревня все более и более втягивается в круговорот промышленно-капиталистических отношений, крестьянский фольклор подвергается значительной трансформации. «Земляному» образу крестьянина город и фабрика придают специфические оттенки.

В поэтическом репертуаре деревни до сих пор бытует песня о крестьянском парне, которого мать посылает «яровое поле жать» и у которого работа не спорится из-за любовной присухи [22]. Очень интересный вариант этой песни записан в 1833 г. в д. Воронках Звенигородского уезда П. В. Киреевским:

Обещал Ваня жить в деревне, с деревенскими мужиками
Он работу работать;
Деревенская работа — одна скука и забота:
Они мало ночи спят,
Друг за другом торопятся, чтоб скорее с поля убраться,
Чтобы туча не зашла, силен дождик не пошел.
Посылает Ваню мать
Яровое в поле жать:
«Поди, Ванюшка, пожни!»
Вышел Ванюшка на крылечко,
Положил серпик на плечко,
Сам нерадошен пошел.
Жал Ванюшенька денечек,
Он единый сноп нажал,
С сударушкой простоял.
Со этой ли Ваня со скуки
Опорезал себе руки —
Ручьем кровь полила.
Сударушка подбежала,
Платком руку увязала,
Чтоб кровь не лила.
Отец с матерью бранятся,
Все работнички сердятся,
Что лениво Ваня жнет.
Отец с матерью взглянули
И руками размахнули,
Кричат: «Ваня, домой!
Поди, Ванюшка, домой, поди, миленький, усни!»
Бежал Ваня, торопился,
За дубовый стол садился,
Он начал перо чинить,

[21] Киреевский, новая серия, вып. II, часть 1, № 1526.
[22] См. нашу статью «Новые задачи в изучении фольклора», «Революция и культура», 1929, № 1, стр. 44.

Очинил Ваня перо крепко,
Он стал письмо писать!
Пишет Ванюшка в Московское царство,
В Петербургское государство,
Он деревню проклинал:
«Распроклятое селенье, Воронковская деревня,
Тюрьмой можно называть».
В Воронках Ваня родился,
А в Архангельском крестился.
Я в Москве теперь живу,
В Москве живу, поживаю,
Красных девушек не забываю
И в трахтир с ними хожу [23].

Здесь уже совершенно иное психологическое наполнение образа крестьянина. Деревенская жизнь для Вани — тяжелая неволя, с которой его может помирить только крайняя необходимость. Его симпатии лежат за пределами «распроклятого селенья», которое «тюрьмой можно называть»,— в «Московском царстве, в Петербургском государстве».

Такая же тяга из деревни в город замечается и у крестьянской девушки:

Ох ты, матушка, преславная Москва!
По тебе стала несносная тоска.
И мне, младе, не можетца,
Во деревне жить не хочеца,
Во дерев(н)е молодеш нехорош,
У нас в Москве ребята хороши:
Тавтаны абрекесовы пошили,
А шапочки алы бархатные,
А пояски алы шелковые [24].

«Фабричный молодец» становится кумиром для крестьянской девушки, несмотря на то, что этот «вор измучил, истерзал» ее [25].

Таким образом, «фабричный» в крестьянской песне — это грамотный городской щеголь и сердцеед, отбившийся от деревенской работы, что вполне соответствует психологии крестьянина в его отношении к отхожим промыслам вообще и к фабрике в частности. Костромской исследователь Жбанков следующими чертами рисует это отношение: «Раз мальчик обучился в Питере, он уже неуклонно будет ходить на сторону; большая легкость и выгодность столичного промысла, полное незнакомство у всех молодых питерщиков с земледельческими работами, всевозможные прелести столичной жизни и наконец привычка и пример уходящих товарищей — все это заставляет каждого чухломца и солига-

[23] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1570, вар. — там же, вып. II, ч. 2, № 2313; Шейн — Великорусские песни, т. I, вып. I, №№ 695—698.
[24] Новая серия, вып. II, ч. 2, № 2381.
[25] Там же, вып. II, ч. 1, № 1577.

личанина подыматься весной и плыть по течению обширной волны, направляющейся отсюда в Питер, Москву и другие центры... Оказывают влияние на отход и мотивы высшего порядка. Питерщики гораздо развитие живущих здесь, разговор их нередко не отличить от городского, обращение, скопированное со столичного мещанства, уменье танцовать, щеголеватый костюм и т. д. Здешний прекрасный пол положительно предпочитает питерщиков, и женихам, постоянно живущим здесь, даются обыкновенно худшие невесты, несмотря даже на то, что они могут жить зажиточнее питерщиков»[26].

С другой стороны, «всевозможные прелести столичной жизни» заставляли крестьянина подозрительно относиться к питерщику-фабричному и нередко представлять его как кабацкого завсегдатая. Эта подозрительность особенно мучительно ощущалась в отношении к женатому рабочему, семья которого оставалась в деревне. Отсюда — широкая вероятно популярность в крестьянском обиходе следующей песни, представляющей в некоторой своей части заимствование из стихотворения Мятлева «Фонарики»[27].

Фабричный, фабричный!
Фабричный горевой!
Три года он деньги копит,
Зараз он все пропьет!
Жена его в деревне
Три года домой ждет
— Пойду, схожу к разбойнику,
Проведаю его! —
А дети ее плачут,
Что мать в Москву идет...
Пришла жена на фабрику,
Спросила про него;
А ей тамо сказали,
Что нету здесь его:
— С хозяином расчелся,
Деньжонки получил, —
Ступай, ищи разбойника
В трактирах, в кабаках. —
Фонарики-сударики
По всей Москве горят,
Что видели, что слышали, —
Про то не говорят.
— Мы видели, мы слышали
Гуляку в кабаке:
Ощипанный-оборванный
Полштоф держит в руке!..[28]

В мещанском песенном фольклоре XIX в. образ «фабричного мастерка» по сравнению с XVIII в. очевидно сохранил известную устойчивость:

. . . .
У вдовушки у вдовы, у солдатской, у жены,
У солдатской у жены были дети хороши:
Была дочка Катюшенька, был Васильюшка сынок,

[26] Туган-Барановский, стр. 406.
[27] И. П. Мятлев, полн. собр. соч., издание Ф. А. Иогансона, 1893, стр. 10—13.
[28] Д. И. Успенский, стр. 9.

Был Васильюшка сынок, он фабричный мастерок;
Всяки штуки вытыкает и наборы набирает,
Он наборы набирает, при компаньице бывает,
При компаньи при такой, при беседе при большой,
При компаньице бывает, сам во скрипочку играет.
Заиграю во скрипицу про душу красную девицу,
Про школьную, манерную, про Катюшу дорогую... [29]

Здесь мы видим того же «мастерка», как и в вышеприведенной песне из песенника 1791 г. Но образы «фабричных молодцов» подвергались уже известной эволюции. Эти молодцы тоже выходили

С ... фабрики гулять
На прекрасу таку —
На гору на высоку.
Садилися по краю
Близ зеленого саду... [30]

Однако между «фабричным мастерком», т. е. кустарем-хозяином, и простым «работным человеком» проводится известная диференциация. «Фабричный» — источник худой славы для девушки:

. . . .
Говорила Кате мать, уговаривал и брат:
— Полно, Катинька, уймися, с фабричными не водися:
С фабричными поводиться, худой славушки добиться [31].

На «фабричном дворе» девушку могут ожидать и большие неприятности:

. . . .
Я такую страсть имела, —
Проводить дружка не смела.
Боюсь, миленький, тебя,
Побьешь девушку, меня,
Косу русу расплетешь,
Черны глазки подобьешь.
Станут люди признавати,
В глаза дурой называти:
— Это что это за дура,
Со фабричного двора?
Расплетенная коса,
Подбиты черны глаза! — [32]

[29] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1584; вар. Соболевский, т. VI, № 554.
[30] Соболевский, т. VI, № 554.
[31] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1584.
[32] Соболевский, т. VII, № 299.

Или в варианте:

. . . .
Я пойду ли красная девица
Во новой во дворец;
Там я пойду с молодцами,
Веселиться буду.
Веселилась девушка, пропилась;
Развивали-то русую косу,
Подбили глаза — девичью красу.
Выпущали молодцы
В задни воротцы:
— Поди, дурочка, такая,
Разбессовестна дура такая,
Со фабричного двора;
Подбиты глаза,
Развитая коса![33]

Н. А. Рожков устанавливает, что в борьбе с предприятиями нового производственно-капиталистического характера старые мануфактуры вступали в союз с кустарями. Среди последних происходила диференциация: с одной стороны, выделялись более самостоятельные элементы, крупные кустари, а с другой — рабочая беднота[34]. Само собой разумеется, что и психология такого кустаря-хозяйчика эволюционировала в сторону установления известной разницы между собой и простым «фабричным». Последнему мещанская психология мелкого «мастерка»-хозяина должна была приписывать именно отсутствие всякой «политичности» и мещански-добропорядочного поведения. Этим сдвигом социального и психологического порядка и об'ясняются особенности образов «мастерка» и «фабричного» в песенном фольклоре мещанства XIX в.

Обращаясь к рассмотрению образа рабочего в песенном репертуаре самой фабрики, необходимо констатировать резкое различие между песнями до 70-х годов XIX столетия и поэтической продукцией конца века.

Основной чертой образа «фабричного» в песнях первой половины прошлого века является бесшабашный разгул с суб'ективным сознанием какого-то молодечества и удальства, отличающих «фабричных молодцов» от других социальных групп:

. . . .
Фабричные ребята — люди мудрены,
Люди мудрены, принапудрены;
Они ткут ковры, салфетки на разные клетки,
Они ткали, переткали, на кафтаны перешили.
Нам не дороги кафтаны, были б денежки в кармане;
Целковые по мошнам не дают спать по ночам:
Во полночь деньги гремят, в кабак итти велят.

---

[33] Там же, № 300.
[34] Н. А. Рожков—Прохоровская мануфактура за первые 40 лет ее существования, «Историк-марксист», т. VI, М., 1927, стр. 105—106.

Целовальник молодой, отпирай новый кабак,
Пущай девок и ребят, наливай чару полней,
Наших денег не жалей ... [35]

Или еще рельефнее:

Течет речка по песку,
Да под самую Москву,
Да под самую Москву,
Ко фабричному двору,
К нам!

Как фабричные ребята,
Право, мудреные,
Право, мудреные,
Принапудренные,
Мы!

Как у нас платки, салфетки,
Все намеченные клетки.
Уж мы сукна переткали
И кафтаны перешивали,
Шили!

Нам не дороги кафтаны,
Были б денежки в кармане

У нас!
У нас денежки гремят,
Во кабак итти велят
Нам!

Мы подходим к кабаку —
Целовальник на боку
Спит!

Понабрамшися мы духу,
Целовальника по уху
Раз!

Целовальника по уху:
Не люби нашу Настюху!
Два!

— За что бьете вы Павлуху?
Не любил вашу Настюху! —
— Врешь! — [36]

Когда нет денег на опохмелку, в ход пускается одежда:

. . . .
У нас шуба нова еся.
Отдадим мы шубу в дело,
Мы заложим в кабаке
Да в одном пятаке.
Пятака нам не дают,
Только в шею задают. [37]

Рабочий еще прочно связан с деревней; эта деревня владеет им и юридически и морально, заставляя его «тосковать» при воспоминании о разгульной жизни на фабрике:

Я такой был раскрасавчик,
Сам на фабричках живал,
Разный ситец набивал.
Получал денег не мало —
Сот на восемь рублей в год;
И того мне нехватало —
Шестьдесят рублей в оброк.
Я с хозяином расчелся,
Ничего мне не пришлось.
Из конторы вон пошел,
Кулаком слезы утер.
Как, утерши горьки слезы,
Отправлялся в дальний путь.
Всю дороженьку проехал,
Об расчете тосковал:
Куды денежки девал,

[35] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1489.
[36] Соболевский, т. VI, № 558; вар.—там же, №№ 556, 557, 559.
[37] Там же, № 556.

Куды гривна, куды рубль,
Куды два с полтиною.
А приехал я домой,
Весь оборванный, худой,
Словно жулик площадной...
«Поживи-ка ты в деревне,
Похлебай-ка серых щей,
Поноси худых лаптей!»[38]

И тем не менее вернувшийся в деревню «блудный сын» — не деревенский житель: он снова отправляется на фабрику и ведет там такую же разгульную жизнь, о чем иронически и сообщает в песне:

— Ах, родимый отец-мать!
Позволь слово мне сказать:
Надоело мне в деревне, —
Отпустите в Харьков жить,
Перестану баловаться,
Буду денег домой слать:
Соберется с пяточок, —
Запру его в сундучок;
Соберется рубль-другой, —
Отошлю его домой;
А если рублей пять,—
Пойду с девками гулять..—
Постарался сынок с год,—
Пяточок домой прислал;
На другой годок
Письмеца не шлет домой.
Пишет сыну отец,
Чтоб шел домой скорей.
— Ах ты, мой батюшка родной!
Продай корову,
Вышли денег на дорогу;
Продай овцу,
Вышли денег молодцу!..[39]

В связи с характером образа рабочего в песенном репертуаре фабрик до 70-х годов XIX в. стоит и все стилевое оформление этих песен. Здесь уже утрачены природный фон и природная символика крестьянской лирики; новый быт «фабричного» привлекает в песню и новые элементы вещных образов (предметы костюма, косметика и пр.). Самый язык песенного репертуара фабрики свидетельствует о новых жизненных отношениях и иной социальной среде («хозяин», «расчет», «погребки», «трактиры», «конторы», «набивать ситцы», «контора», «жулик площадной» и др.). Но метрико-ритмическая структура стиха еще крестьянская, хотя кое-где уже и видны попытки более или менее последовательного применения рифмы, приближающие рассматриваемые песни к произведениям книжной поэзии.

Образ рабочего в песенном фольклоре дореформенной фабрики станет понятным, если мы присмотримся к тому, что представлял собой этот рабочий.

Русская фабрика первой половины XIX в. все еще сохраняет в значительной степени характер мануфактуры. «Первая важная черта,—

[38] Там же, № 550; вар.— там же, №№ 551 и 552; Д. И. Успенский, стр. 6—7.
[39] Д. И. Успенский, стр. 7.

говорит Н. А. Рожков,— обращающая на себя внимание при характеристике Прохоровской фабрики за 30-е годы XIX в.,— это сохранение этой фабрикой втечение 30-х годов характера мануфактуры промышленного предприятия торгово-капиталистического типа, эпохи первоначального накопления» [40]. Если такое сравнительно большое предприятие, как Прохоровская мануфактура, было в 30-х годах далеко от техники машинного производства, то о более мелких фабричках и говорить не приходится. А это обстоятельство определяло собой и состав фабричных рабочих: пока работа идет вручную, не машинным способом, рабочий остается наполовину крестьянином; и только «фабриками, работающими механическою силой, неразрывно связано отчуждение рабочих от земли»...[41] Таким образом, если мы и можем говорить о рабочем классе в первую половину XIX в., то только как о классе в периоде его формирования из крестьянства (главным образом), о классе an sich. «Пока рабочий на фабрике один, семья же его в деревне, связь его с землей еще не порвана; для него еще есть магнит, притягивающий к деревне, и он возвращается в нее время от времени и на более или менее продолжительный срок в году для полевых работ» [42].

Этот деревенский «магнит», взгляд рабочего на фабрику, как на место подсобного заработка, затушевывал гнет капиталистической эксплоатации. Поэтому и в песенном фольклоре фабрики первой половины XIX в. образ рабочего еще не выступает как об'ект этой эксплоатации. В песнях имеется только намек на капиталистическое угнетение, так как в самой действительности, по словам В. И. Ленина, «средневековые формы эксплоатации... прикрыты личными отношениями... патриархального «скромного и бородатого миллионера» к его ребятам»... [43]

Вы, леса ль, мои лесочки, леса мои темные!
Вы, кусты ль, мои кусточки, кустики ракитовы!
Уж что же вы, кусточки, да все призаломаны?

У молодцев у фабричных глаза все заплаканы.
Как навстречу им, фабричным—главные хозяева,
Главные хозяева Грача Скарнаухова,

[40] «Прохоровская мануфактура», стр. 104.

[41] Е. М. Дементьев—Фабрика, что она дает населению и что она у него берет, изд. 2, М., 1897, стр. 11.

[42] Там же, стр. 44.

[43] В. И. Ленин—Экономическое содержание народничества и критики его в книге г. Струве, собр. соч., т. II, Гиз, М., 1925, стр. 67 (разрядка автора — *П. С.)*.

— Вы не плачьте-ка, молодчики, молодцы фабричные!
Я поставлю вам, робятушки, две светлицы новые,
Станы самолетные, основы суровые,
Нанесу я вам, робятушки, ценушку высокую,
Ценушку высокую, салфетки по рублику —[44].

Если ко всем трудностям рабочей жизни прибавить, «что огромная масса рабочих были безграмотные крестьяне, что никаких культурных учреждений (библиотек, клубов, театров, всякого рода обществ, часто даже просто книг и газет) при русских фабриках, за редкими исключениями, не существовало, что издевательству мастеров над рабочими, и особенно работницами, не было конца (побои были не редкость) и что рабочему например в праздник оставалось итти или в церковь или в кабак»[45], то фабричный разгул, наложивший такие резкие черты на образ рабочего в песенном репертуаре фабрики первой половины XIX в., станет понятен.

Иной раз рабочего находим мы в песенном репертуаре фабрики конца XIX в., да и о самом этом репертуаре, в большинстве его произведений, можно говорить только как о фольклоре по употреблению, не по созданию.

«... Старая патриархальная Россия после 1861 г. стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность»[46]. Буржуазия все больше и больше заменяет крепостнические порядки «эксплоатацией» «европейски-развязного антерпренера», эксплоатацией безличной, голой, ничем не прикрытой и уже тем самым разрушающей нелепые иллюзии и мечтания»[47].

Все это приводит к тому, что рабочий класс выкристаллизовывается в класс für sich, в пролетариат, над которым уже не тяготеет «власть земли». «Как бы ни было, какие бы причины ни способствовали преобразованию прежнего земледельца в фабричного рабочего, но эти спе-

---

[44] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1578.

[45] В. И. Невский — Очерки по истории российской коммунистической партии, т. I, изд. 2, Рабочее издательство «Прибой», Л., 1925, стр. 160.

[46] В. И. Ленин — Л. Н. Толстой и современное рабочее движение, собр. соч., т. XX (дополнительный), ч. 1, Гиз, М.—Л., 1926, стр. 322.

[47] В. И. Ленин — Экономическое содержание народничества, стр. 67.

циальные рабочие уже существуют. Они только числятся крестьянами, но связаны с деревней лишь податями, которые вносятся ими при перемене паспортов, ибо на самом деле они не имеют в деревне ни хозяйства, ни сплошь и рядом даже дома, обыкновенно проданного. Даже право на землю они сохраняют, так сказать, лишь юридически, и беспорядки на фабриках в 1885 — 1886 гг. на многих фабриках показали, что эти рабочие сами считают себя совершенно чуждыми деревне, точно так же, как крестьяне деревни, в свою очередь, смотрят на них, потомков своих односельчан, как на чуждых пришельцев. Перед нами следовательно уже сформировавшийся класс рабочих, не имеющих своего крова, не имеющих фактически никакой собственности,— класс, ничем не связанный и живущий изо дня в день»[48].

Сами рабочие, по словам историка рабочего движения в Иваново-вознесенском промышленном районе (1897—1900 гг.) А. Рябинина, начинали сознавать, хотя и смутно, что одним из существеннейших препятствий «для улучшения положения рабочего класса служит в России во многих местах непрекратившаяся еще связь рабочего с землей»[49].

Фабрично-заводской пролетариат выдвигает свой авангард не только на арене политической борьбы, но и в поэзии. Дореволюционные «фабкоры» в своих стихах, получающих широкое песенное распространение, выражают настроение рабочих причем, как люди грамотные, выросшие на книге, они подражают в своем творчестве, с формальной стороны, образцам книжной поэзии. Любопытно, что к книжным образцам обращаются наиболее развитые рабочие и в более ранние эпохи. Так, А. А. Савич, рассказывая о тайном «Обществе вольности» на Чермозском вотчинном (Лазаревском) заводе 1836 г., отмечает, что окончившие местную приходскую школу «Алексей Третьяков, Иван Васильевич Баканин и Федор Егорович Лодейщиков составили пародию на какую-то оду Державина, в которой высмеяли свирепого заводского полицеймейстера Василия Наугольных, за что в свое время были биты нещадно»[50].

Приведенные соображения достаточно об'ясняют нам и образ рабочего и все стилевое оформление в песенном репертуаре фабрики конца XIX в.

---

[48] Дементьев, стр. 44, 46.

[49] А. Рябинин – Из истории рабочего движения в Иваново-вознесенском промышленном районе, «Минувшие годы», 1908, № 5—6, стр. 464.

[50] А. А Савич – Тайное «Общество вольности» на Чермозском вотчинном (Лазаревском) заводе 1836 г., «Пермский краеведческий сборник», вып. II, Пермь, 1926, стр. 43.

— Вы не плачьте-ка, молодчики, молодцы фабричные!
Я поставлю вам, робятушки, две светлицы новые,
Станы самолетные, основы суровые,
Нанесу я вам, робятушки, ценушку высокую,
Ценушку высокую, салфетки по рублику — [44].

Если ко всем трудностям рабочей жизни прибавить, «что огромная масса рабочих были безграмотные крестьяне, что никаких культурных учреждений (библиотек, клубов, театров, всякого рода обществ, часто даже просто книг и газет) при русских фабриках, за редкими исключениями, не существовало, что издевательству мастеров над рабочими, и особенно работницами, не было конца (побои были не редкость) и что рабочему например в праздник оставалось итти или в церковь или в кабак» [45], то фабричный разгул, наложивший такие резкие черты на образ рабочего в песенном репертуаре фабрики первой половины XIX в., станет понятен.

Иной раз рабочего находим мы в песенном репертуаре фабрики конца XIX в., да и о самом этом репертуаре, в большинстве его произведений, можно говорить только как о фольклоре по употреблению, не по созданию.

«... Старая патриархальная Россия после 1861 г. стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность» [46]. Буржуазия все больше и больше заменяет крепостнические порядки «эксплоатацией» «европейски-развязного антерпренера», эксплоатацией безличной, голой, ничем не прикрытой и уже тем самым разрушающей нелепые иллюзии и мечтания» [47].

Все это приводит к тому, что рабочий класс выкристаллизовывается в класс für sich, в пролетариат, над которым уже не тяготеет «власть земли». «Как бы ни было, какие бы причины ни способствовали преобразованию прежнего земледельца в фабричного рабочего, но эти спе-

[44] Новая серия, вып. II, ч. 1, № 1578.
[45] В. И. Невский — Очерки по истории российской коммунистической партии, т. I, изд. 2, рабочее издательство «Прибой», Л., 1925, стр. 160.
[46] В. И. Ленин—Л. Н. Толстой и современное рабочее движение, собр. соч., т. XX (дополнительный), ч. 1, Гиз, М.—Л., 1926, стр. 322.
[47] В. И. Ленин—Экономическое содержание народничества, стр. 67.

циальные рабочие уже существуют. Они только числятся крестьянами, но связаны с деревней лишь податями, которые вносятся ими при перемене паспортов, ибо на самом деле они не имеют в деревне ни хозяйства, ни сплошь и рядом даже дома, обыкновенно проданного. Даже право на землю они сохраняют, так сказать, лишь юридически, и беспорядки на фабриках в 1885 — 1886 гг. на многих фабриках показали, что эти рабочие сами считают себя совершенно чуждыми деревне, точно так же, как крестьяне деревни, в свою очередь, смотрят на них, потомков своих односельчан, как на чуждых пришельцев. Перед нами следовательно, уже сформировавшийся класс рабочих, не имеющих своего крова, не имеющих фактически никакой собственности,— класс, ничем не связанный и живущий изо дня в день»[48].

Сами рабочие, по словам историка рабочего движения в Иваново-вознесенском промышленном районе (1897—1900 гг.) А. Рябинина, начинали сознавать, хотя и смутно, что одним из существеннейших препятствий «для улучшения положения рабочего класса служит в России во многих местах непрекратившаяся еще связь рабочего с землей»[49].

Фабрично-заводской пролетариат выдвигает свой авангард не только на арене политической борьбы, но и в поэзии. Дореволюционные «рабкоры» в своих стихах, получающих широкое песенное распространение, выражают настроение рабочих, причем, как люди грамотные, выросшие на книге, они подражают в своем творчестве, с формальной стороны, образцам книжной поэзии. Любопытно, что к книжным образцам обращаются наиболее развитые рабочие и в более ранние эпохи. Так, А. А. Савич, рассказывая о тайном «Обществе вольности» на Чермозском вотчинном (Лазаревском) заводе 1836 г., отмечает, что окончившие местную приходскую школу «Алексей Третьяков, Иван Васильевич Баканин и Федор Егорович Лодейщиков составили пародию на какую-то оду Державина, в которой высмеяли свирепого заводского полицеймейстера Василия Наугольных, за что в свое время были биты нещадно»[50].

Приведенные соображения достаточно об'ясняют нам и образ рабочего и все стилевое оформление в песенном репертуаре фабрики конца XIX в.

[48] Дементьев, стр. 44, 46.

[49] А. Рябинин — Из истории рабочего движения в Иваново-вознесенском промышленном районе, «Минувшие годы», 1908, № 5—6, стр. 464.

[50] А. А Савич — Тайное «Общество вольности» на Чермозском вотчинном (Лазаревском) заводе 1836 г., «Пермский краеведческий сборник», вып. II, Пермь, 1926, стр. 43.

Рабочий в этом репертуаре выступает как **об'ект капиталистической эксплоатации**, что так ярко суммировано в стихотворении фабричного поэта, красовара ивановских фабрик, Ив. Флорова «с Покрова»:

Время — тяжкий период
Для фабричных настает.
Жмет фабричного контора,
Как в тюремном замке вора;
Цен сбавляют, пишут штраф,
На защиту нету прав.
И не охни, не вздохни,
Спорить,— боже, сохрани!

Кто не хочет подчиниться,
Надо с фабрикой проститься,
Поступить в артель «котов»,—
Грязь месить у кабаков...
А ведь люди и купцы
Есть и дети и отцы,
А на сердце у них ночь:
Чуть прогневал — поди прочь! [51]

Рабочего «обирают» не просто, а «по-ученому», причем значительную помощь в этом деле фабриканту оказывает духовенство:

Эх, и прост же ты, рабочий человек!
На богатого гнешь спину весь свой век.
У Миронова у Саввушки завод,
Обирают там безжалостно народ,
Все рабочие в убогости,
А на них большие строгости.
Чтоб не вышло препирательства
За иные надувательства,
Канцелярия составила
Для рабочих пункты, правила.
Положила кары грозные,
Наказания серьезные,
Обирают по-ученому,
Принимают, прижимают по-законному...
Загорелся раз у Саввушки завод,
Разбегаться стал испуганный народ...
Управляющий пожар тушить велит,
А рабочий люд на улицу валит...
Дали Савве знать об этом в телефон,
Как ошпаренный примчался мигом он:
— Как! имущество мое должно гореть?
Гей, немедленно ворота запереть! —
Не велел с двора пускать он ни души,
А там хочешь, аль не хочешь, а туши.
Савва — жирная скотинушка,
В три обхвата животинушка,
Он живет себе с прохладою,
Умывается помадою,
Злой кручинушки не ведает,
По три раза в день обедает.
Обзавелся гувернантками,
Черномазыми тальянками,
Обхождения приятного,
Разговору непонятного,
Они ходят точно павушки,—
Утешение для Саввушки.
Собирали как-то деньги на собор —
На заводе велел Савва сделать сбор
— Подавайте с каждой хари четвертак,
Все равно снесете деньги все в кабак. —
Духовенство умилилося,
Савве низко поклонилося,
А для нашего спасения
Поучают в воскресения,
Чтоб безропотно трудилися
Да молитвами кормилися... [52]

---

[51] О. С. Рябинин, стр. 465.

[52] «Фабричная камаринская»; Русская революция в сатире и юморе, ч. 1 (1905—1907 гг.), составил К. Чуковский, библиотека «Красной нивы», вып. II, М., 1924, стр. 20.

Рабочий измучен непосильным трудом, а отсутствие заградительных приспособлений при машинах нередко приводит к катастрофе:

Лето красное проходит,
Зима морозна настает,
Зима морозна настает,
У фабричных сердце мрет.
С полуночи встает,
На работу поспевает.
На машине задремал,—
Праву ручку оторвал,
Праву ручку оторвал,
К отцу-матери послал.
Отец с матерью идут,
Слезы в три ручья текут.
А в народе говорят,
Фабриканта все бранят...
Ах, постылый ты, завод,
Перепортил весь народ,
Перепортил, перегадил.
Никто замуж не берет—
И ни барин, ни купец,
Ни фабричный молодец!
Тот лишь замуж их возьмет,
Кто свиней в лесу пасет! [53]

«Фабричный» голодает и находится в тяжелых жилищных условиях, о чем с горькой иронией и повествуется в песне:

— Горе, горе, что живешь,
На линии в казарме:
Горе, горе, что ждешь—
Кирпичи да камни!
Кирпичу я не хочу,
Камушка не надо! [54]..

Рабочий, прекрасно понимая, что «хозяин» — его враг, радуется, когда фабрикант «вылетает в трубу», и перечисляет все перенесенные от капиталиста обиды и притеснения:

Слава богу, наш хозяин —
Поправляются дела:
Из кулька он во рогожку
С дымом вылетит в трубу!
Он за это полетит:
По утру рано будит,
Он нас чаем не поит,
Плохи щи про нас варит,
Ни капусты ни крупы, —
Одной тепленькой воды!
Мы водицы похлебали, —
Говядины ни куска!
Все празднички работали,—
У хозяина денег нет.
Будем денег мы просить,—
Он глаза все перекосит.
Ну, так чорт с тобой, хозяин,
Со работой со твоей,
Со работой со твоей,
Со прикащиком дурным,
Со прикащиком дурным,
С подмастерьем дорогим!
Что за хваты, за ребята
У N (фамилия хозяина) живут:
Носят ситцевы рубашки
Об семидесят заплат;
На них синие халаты
Подпоясаны ремнем... [55]

[53] Соболевский, т. VI, № 563.
[54] Там же, т. VII, № 297.
[55] Там же, т. IV, № 562.

Рабочий противопоставляет свою тяжелую жизнь привилегированному положению фабричной администрации, «конторщиков», которые получают «награды», как «манну» с неба, а не «трудом добытый дар», в то время как труженику-рабочему, не знающему «ни дня ни ночи» и достающему «копейку кровью», «в несчастьи боятся рублик передать»[56].

Итак, образ рабочего в песенном репертуаре фабрики конца XIX в. является **выражением психологии пролетариата, для которого уже ясны непримиримая противоречивость его интересов с интересами фабриканта и необходимость борьбы за свое освобождение.** В этой поэзии нет красок крестьянского фольклора — она дышит суровой простотой своего стиля и отличается полным отсутствием природной символики. Самая версификация, с более или менее правильной метрикой, выдержанной нередко строфичностью и последовательным применением рифмы, мало имеет общего с принципами построения стиха в крестьянской устной лирике.

[56] См. нашу статью «Новые задачи в изучении фольклора», стр. 46.

Ю. И. Данилин

О «БЮГ-ЖАРГАЛЕ» ГЮГО

Виктору Гюго было шестнадцать лет, когда в 1818 г. он побился об заклад со своими друзьями, такими же, как и он, горячими любителями литературы, что напишет втечение двух недель первую повесть для задуманной ими коллективной книги. Соответственно возрасту юных литераторов эта книга претендовала быть всего лишь сборником более или менее занимательных историй, рассказываемых офицерами накануне сражений.

Через две недели Гюго действительно закончил свою повесть, озаглавленную «Рассказы в палатке», и она была им затем, в 1820 г., напечатана в журнале «Литературный консерватор». Семь лет спустя, в 1825 г., Гюго подверг коренной переработке эту первую свою повесть, развил ее в роман и напечатал последний в следующем году уже под названием «Бюг-Жаргаль». Текст, обычно известный читателю, и является второю редакцией 1826 г.

Таким образом, распространенное утверждение о том, что Гюго написал «Бюг-Жаргаля» шестнадцатилетним мальчуганом, не соответствует действительности. Задача читателя и критика чрезвычайно бы усложнилась, если бы пришлось оценивать произведение юного и незрелого художника: техническая неопытность могла бы сковывать автора, могла бы привести к тому, что существенное, основное оказалось бы у него заслонено случайным. К счастью, сличение обеих редакций «Бюг-Жаргаля» позволяет видеть, что если первая написана мальчиком, то вторую мы вполне можем воспринимать как произведение сформировавшегося человека, обладающего уже некоторым литературным опытом: ведь к 1825 г. Гюго напечатал сборник стихотворений «Оды и баллады» (1822) и роман «Ган-Исландец» (1823).

Различие между двумя указанными редакциями прежде всего количественное: во второй редакции роман Гюго увеличился почти вчетверо. Изменились также многие сюжетные положения, и возросло количество

персонажей. В первой редакции не было ни Марии, ни карлика Габибры, а офицер-рассказчик Леопольд д'Оверней носил имя капитана Дельмара. В первой редакции взаимоотношения Дельмара и Бюг-Жаргаля основывались только на дружбе. Сюжет был несложен: невольник негр Пьерро препятствует жестокому дяде Дельмара наказать старого негра-раба, и этот поступок заставляет молодого Дельмара исполниться восхищенного уважения к благородному Пьерро, брошенному в тюрьму разгневанным плантатором. В дальнейшем, когда негры восстают, Пьерро, один из вождей восставших, спасает своего свирепого хозяина, дядю Дельмара.

Вторая редакция представляет неизмеримо более усложненное целое. Введены образы Марии[1] и Габибры. Уже не просто дружбой связаны теперь Леопольд д'Оверней и Пьерро, но общей любовью к Марии. Ненависть восставших негров приводит теперь к убийству дяди Леопольда, что и более правдоподобно; выполнителем этой мести является коварный Габибра. Более понятны стали и другие положения романа, например эпизод пребывания рассказчика в лагере Биассу. В первой редакции Дельмар получает от Биассу разрешение уйти до вечера,— хотя, в сущности, ему некуда и не для чего уходить,— дав клятву, что вечером он возвратится, чтобы быть казненным. Неправдоподобие этого положения бросается в глаза. Во второй редакции Леопольд уходит из лагеря, чтобы узнать о судьбе Марии, но он слишком презирает негров, чтобы принять от них помилование, и поэтому возвратился вечером для казни.

Что же представляет собой «Бюг-Жаргаль» в истории французской литературы 20-х годов прошлого века? Почему Гюго написал этот роман? Что он хотел сказать этой книгой? Почему его привлек образ героя-негра?

Двадцатые годы XIX в. ознаменовались во Франции некоторым — небольшим, правда,— расцветом негрофильской литературы, авторы которой, «друзья негров», восставали в той или иной мере против тор-

[1] Известный исследователь французского романтика Морис Сурио (M. Souriau — Histoir du romantisme en France, 1927, t. I, p. 2-me, p. 160) высказал мысль о том, что в истории любви Леопольда д'Оверней к Марии (как в отношениях Орденера к Этель, персонажей «Гана - Исландца») Гюго хотел рассказать о своей любви к Адель Фуше, на которой он женился в 1822 г.; суб'ективно, может быть, так и было. Во всяком случае, в первой редакции, в эпоху, когда Гюго еще не испытал своей первой любви, не имелось ни женского образа ни любовного мотива, а Дельмару было не 20 лет, как Леопольду, а всего 17.

говли черными рабами, против невольничества негров. В начале же 20-х годов сложилось и окрепло во Франции новое литературное течение — романтизм. «Бюг-Жаргаль» не может быть понят вне анализа этих двух предпосылок.

«В 1820 или даже в 1826 г. герой имел тем больше шансов понравиться публике, если он был негр, краснокожий, оливкового цвета или по крайней мере очень смуглый; сама г-жа де-Дюра, не принадлежа ни к какому сенаклю, избрала героиней своей первой повести негритянку Урику». Так пишет Андре Лебретон [2], автор ряда ценных трудов по истории французской литературы. Утверждение его однако не совсем верно. Если писатель 20-х годов избрал героем своей повести негра, то это происходило не только вследствие одного влечения к экзотике, к модному «местному колориту» (couleur locale),— причины этого были гораздо сложней и интересней.

С тех пор, как королевская династия Бурбонов, изгнанная Великой французской революцией, возвратилась в 1815 г. обратно, во Франции начался период беспримерно мрачной дворянско-католической реакции, растянувшийся на целые 16 лет, окрасивший собою всю эпоху Реставрации (1815—1830). Однако Бурбоны, при всем их желании вернуть Францию к ее дореволюционному состоянию, не были в силах этого добиться. Тем сильней была озлобленность возвратившихся дворян-эмигрантов. Об их настроениях свидетельствует хотя бы такой факт: крайняя правая группа дворянства, так называемые «ультра-роялисты», составляя в 1815 г. большинство в Палате депутатов, провела закон об отмене развода, требовала упразднения университетов, возврата национальных имуществ (т. е. конфискованных земель эмигрантов), учреждения чрезвычайных военных судов и т. д. Ширясь из года в год, реакция окрашивала все стороны жизни: политику, общественные отношения, философию, мораль. Влияние реакции, естественно, сказалось и на литературе.

Ранний французский романтизм первой половины 20-х годов был по преимуществу дворянским. Наиболее актуальными именами литературы этих лет являются: Шатобриан, Виньи, Ламартин, Арленкур. Свой романтизм дворянство привезло из эмиграции. Главнейшими чертами этого реакционного романтизма являются: отвращение к действительности, где совершаются ужасные и безбожные революции, мрачный

[2] A. Le Breton—Le roman français au XIX siècle avant Balzac, p. 198.

пессимизм, экзальтированные порывы к небу, влечение к примитивно-патриархальному строю жизни экзотических стран, тоска по дореволюционному королевскому прошлому, потребность ухода в глубь веков — к феодальному средневековью, к эпохе первых мучеников христианства, к временам библейских пророков.

Буржуазия, обязанная революции конца XVIII в. своими гражданскими правами, переживала в первое десятилетие после возвращения Бурбонов период страшной социально-политической депрессии (лишь во второй половине 20-х годов она постепенно поднимает голову, подготовляясь к Июльской революции, и тут возникает буржуазный, социально-протестующий романтизм). Поскольку же об'ектом реакции являлся именно этот класс, упрочивший свое положение благодаря революции, столь гибельной для землевладельческого дворянства,— буржуазные писатели начала 20-х годов тоже испытывали потребность ухода от окружающей действительности. Но если они также влеклись в историю, в экзотику, в фантастику,— над ними известным образом тяготели традиции революционной эпохи: ведь ни эти писатели ни их отцы не были эмигрантами, напротив, они пережили революцию во Франции, они были ее бойцами и строителями, они сражались под знаменами Конвента и Наполеона против международной реакции, вздохновлявшейся Бурбонами и бежавшим дворянством. Дальше мы остановимся на некоторых этих традициях.

В силу депрессии, которую переживала буржуазия, было закономерно, что идеология дворянства, перерастая свои классовые рамки, становилась общественно-доминирующей и влияла на некоторые слои буржуазного класса. Это мы видим на примере биографии Гюго. По матери Виктор Гюго принадлежал к роялистски настроенной провинциальной буржуазии; отцом его был генерал Гюго, ярый бонапартист (бонапартисты подвергались притеснениям и преследованиям со стороны правительства Реставрации).

Оды, которые Гюго представлял в 1817—1820 гг. на конкурс в Тулузскую академию, были написаны на религиозные или монархические темы. В том же роялистском духе издавал он со своими братьями журнал «Литературный консерватор». Наконец, когда в 1822 г. молодой поэт выпустил «Оды и баллады», король Людовик XVIII назначил ему ежегодную пенсию в 2000 франков. Как было не одарить, не ласкать поэта, который воспевал вандейцев, описывал вознесение на небо не кого другого, как Людовика XVII, чернейшими красками рисовал рево-

люцию и Наполеона и столь категорически заявлял, что «история человечества представляется мне поэтичной лишь с точки зрения христианских или монархических идей».

Так, мы видим, что молодой Гюго явился выразителем настроений роялистской, католической, антиреспубликанской и антибонапартистской буржуазии. Но те идеи, которые он с таким жаром выражал в своем творчестве, разве не совпадали они точь-в-точь с вышеуказанными тенденциями дворянского романтизма? Если же они совпадали полностью, остается сделать вывод, что тот слой буржуазии, от имени которого говорил Гюго, ничем не отличался от дворянства. Может ли быть так? — Очевидно не может. Буржуазия в эпоху Реставрации была об'ектом нападения и злобы дворянства, была классом социально-угнетенным, обиженным. И если некоторые слои этого класса чрезвычайно громко исповедывали квази-дворянские убеждения, исследователь должен тщательно выяснить причины и природу этих убеждений. Может быть, эти слои буржуазии — например известная своим политическим консерватизмом провинциальная буржуазия — искренно заявили о своем роялизме. Но ведь об'ективно манифестация подобного рода воззрений была выгодна данному классу в ту эпоху: это была мимикрийная маска, политическое приспособленчество, облегчавшее буржуазии возможность спокойного существования в пору дворянской реакции. А если так, должно открыть за этой маской те тайные черты, которые отвечали подлинному мировоззрению буржуазии,— те черты, в которых могли сказаться — пусть робко, косноязычно или эзоповским языком — сознание классового интереса, воля к борьбе за него, стремление опоэтизировать, оправдать этот интерес и эту волю. Чем может быть поучителен здесь «Бюг-Жаргаль»?

По внешности «Бюг-Жаргаль» кажется стопроцентным произведением монархически-дворянского романтизма. Действительно, события тут показаны под углом зрения и симпатий роялистски настроенной группы рабовладельцев, идеологом которой является старый королевский генерал де-Рувре. Фигура де-Рувре не без умысла обрисована на фоне грызни двух лагерей плантаторов-республиканцев, которые во время восстания вместо немедленной организации обороны находят возможным мелко препираться по вопросу о сравнительных достоинствах провинциально и колониально республиканских собраний. Читатель невольно должен сочувствовать монархисту де-Рувре, который страдает от необходимости иметь дело с «двумя санкюлотскими собраниями», который

с такой прочувствованной убежденностью заявляет, что если бы «всех этих так называемых представителей отправить ко всем чертям», можно было бы легко справиться с восставшими. Но если де-Рувре быстро сходит со сцены, молодой Гюго резко подчеркнет свою симпатию к его горячему политическому единомышленнику, офицеру-рассказчику Леопольду д'Оверней, этому «аристократу, врагу революции, роялисту, фельянтинцу, жирондисту», как Леопольда называет в эпилоге комиссар Конвента, явившийся его арестовать. Конечно, под пером монархически настроенного писателя этот комиссар изображен как кровожадный «шпион славы», который не может не быть «взбешен», когда узнает о геройской смерти Леопольда; закономерно и то, что негодующий собеседник заявляет этому комиссару с таким презрением:

— У вас остается еще выход из этого положения, гражданин представитель народа! Велите отыскать тело капитана среди развалин редута. Кто знает, быть может, неприятельские ядра оставили голову группы на жертву национальной гильотине!

В основе «Бюг-Жаргаля» лежит историческое событие: восстание негров, происходившее в 1791 г. на острове Сан-Доминго. Негры-рабы, обнадеженные пышной риторикой «Декларации прав человека и гражданина», измученные непосильным, изнурительным трудом, под палящим солнцем, под бичами надсмотрщиков, под палками плантаторов, восстали, предводительствуемые негром Биассу, против белых рабовладельцев. Восставшие были уверены, что рабовладельцы насильно и незаконно продолжают держать их в рабстве, их, получивших теперь волею Великой французской революции общие для всех людей права свободы и равенства.

Избирая местом своего пребывания лагерь белых — плантаторов, колонистов, офицеров,— Гюго, как видим, разделяет в этом лагере лишь воззрения его роялистской группы. Так же расслаивается для него и лагерь восставших негров. Один из вождей последних, Биассу, изображен им, как кровожадное, мстительное, хитрое существо. Особенно неприятна Гюго двуличная дипломатия Биассу и прочих «предводителей бунтовщиков», желавших «уверить всех, что они действуют то от имени короля Франции, то от имени революции, то от имени короля Испании». Еще более, чем Биассу, неприятен Гюго другой вождь негров, колдун Габибра, гротескный персонаж, изображенный в отталкивающе-гнусном виде. Лишь один Бюг-Жаргаль является приятным исключением. Этот вождь восставших полон благородства, великодушия и самоотвержен-

ности; эти прекрасные качества должны повидимому об'ясняться высоким происхождением Бюг-Жаргаля: ведь он — сын негритянского короля и среди своих товарищей, негров-рабов, остается некоронованным королем. Читатель закроет книгу даже с некоторым недоумением: ведь Бюг-Жаргаль почти не показан в восстании, идея революционного насилия никак не оформлена в его образе. Странно и нелепо, что этот вождь восстания, этот негр-бунтовщик, превращен в какого-то чувствительного комиссионера по устройству добрых дел, по спасанию белых рабовладельцев или их дочерей.

В итоге получается, что в обоих враждующих лагерях молодому писателю симпатичны только персонажи, которые исповедуют монархические воззрения. Мало того: монархисты, симпатичные молодому Гюго, являются представителями дворянства. Не зная автора «Бюг-Жаргаля», можно было бы утверждать, что роман написан типичным дворянским писателем. На этом примере можно судить о степени влияния идеологии дворянства на буржуазных писателей начала 20-х годов; не легко найти другой аналогичный случай, где бы буржуазный писатель XIX в. воспевал и поэтизировал дворянство. И тем не менее данная концепция, при всей ее определенности, еще не решает дела. Социологичская формула «Бюг-Жаргаля» еще не найдена.

Обратимся теперь к негрофильской литературе. В оформлении своей темы Гюго отдал долг традициям этой литературы, возникшей, кажется, в 70—80-х годах XVIII в. Среди первых образцов этой литературы отметим повесть юной Жермены Неккер, будущей г-жи де-Сталь, «Мирза» (1781). В этой повести, героиней которой является негритянка, выражены симпатии автора к неграм и протест против рабства,— воззрения либеральной крупной буржуазии, отчасти разделявшиеся впоследствии жирондистами. В 1789 г. в Париже был издан роман гражданина Н. Ж. Лавалле «Le Nèrge comme il y a ceux de blancs», герой которого, простой и добрый негр, выделяется своими качествами на фоне низости белых, среди которых он живет. В 1797 г. в Париже шла пьеса Беро и Рони «Адонис или добрый негр», представлявшая мелодраматическую переделку названного романа. Вот сюжет пьесы. Во время восстания Биассу негр Адонис старается спасти своего белого господина, обреченного на смерть, и покидает лагерь восставших, чтобы привести французских солдат. Этот добрый негр испытывает множество препятствий, но к его удовольствию в пьесе есть еще добрая

негритянка Зерлина, которая всячески мешает Биассу привести казнь в исполнение. Тем временем Адонис приводит драгунов в лагерь Биассу. «Злодей! — восклицает скованный Биассу,—ты нас предал!» —«Да,— отвечает добродетельная Зерлина,— и это геройский поступок, так как он сделан ради уничтожения разбойников».— Советскому читателю не легко будет поверить, что авторы этой литературы считали себя друзьями негров. В чем же их литература стремилась облегчить положение негров, помочь им агитировать против рабовладельчества?

Негрофильское движение было буржуазным. Возникшее в недрах самих собственнических классов, оно не требовало отмены рабовладельчества. Оно еще не считало негра таким же человеком, как белый. Оно лишь пыталось будить гуманные чувства в рабовладельцах и работорговцах, смягчать принятые в отношении негров-рабов наказания и т. п. Но опять-таки негрофилам были приятны лишь негры типа Адониса и Зерлины, проникнутые моралью белых господ, преданные последним, изменяющие ради них своим черным сородичам, грозным, восстающим рабам. И нисколько не удивительно, что авторы негрофильской литературы изображали в отталкивающем виде «взбунтовавшихся» негров и их исторического вождя Биассу.

Вполне возможно, что молодой Гюго видел пьесу Беро и Рони или слышал о ней, а «она одна могла бы уже снабдить его всеми материалами для его романа: главными персонажами, событиями и эпизодами», как правильно указывает К. В. Хертленд [3], современный английский исследователь французской литературы. Традиция негрофильской литературы конца XVIII в. могла притти к Гюго также и из других каких-либо литературных источников, и важно, что это была традиция буржуазной литературы.

При исследовании источников «Бюг-Жаргаля» любопытно остановиться на семейных преданиях. Оказывается, что прототипом Леопольда д'Оверней явился не кто другой, как дед Гюго с материнской стороны, судовладелец Требюше, роялистски настроенный буржуа, долгое время торговавший неграми. Этот дед Гюго был уроженцем Оверне (Auverné), маленького торгового городка по течению Нижней Луары; отсюда имя Леопольда д'Оверней (Auvernéy). Деталь, достойная внимания. Ведь если в отношениях Леопольда к Марии Гюго действительно хотел рассказать о своей любви к Адели Фуше, если, говоря о дворянине Лео-

[3] K. W. Hartland—W. Scot et le roman frénétique, P. 1928, p. 141.

польде д'Оверней, он думал о своем деде, который был свидетелем событий на Сан-Доминго[4], то не ясно ли, что дворянский коэфициент Леопольда был пустою фикцией? Но зачем же Гюго должен был обряжать своего рассказчика в офицерский мундир дворянина?

Среди авторов негрофильской французской литературы 20-х годов мы видим меланхолическую поклонницу Шатобриана, г-жу де-Дюра, написавшую повесть «Урика»; одного из издателей журнала «Глобус», Шарля де-Ремюза, представителя либеральных слоев дворянства, склонявшихся к идее парламентаризма и политической свободы, автора романа «Восстание на Сан-Доминго»; в 1829 г. к ним присоединится со своей повестью «Таманго» Проспер Мериме, представитель республиканского и атеистически настроенного слоя буржуазии. Таким образом, путь негрофильской литературы 20-х годов преобладающе совпадал с линией главенствовавших оппозиционных настроений: от лево-дворянской оппозиции, начала этого десятилетия, до лево-буржуазной оппозиции конца Реставрации.

В силу этой причины «Бюг-Жаргаль», при всей своей монархической и квазидворянской концепции, должен был об'ективно как произведение негрофильской литературы лежать в плоскости буржуазной литературной традиции, в плоскости настроений оппозиционных групп дворянства. Отсюда можно сделать лишь тот вывод, что роялистски настроенные слои буржуазии начала 20-х годов находили общий язык и общие интересы лишь с этими левыми оппозиционными слоями дворянства. Это значит, что под маской своего благонамеренного роялизма буржуазия кипела совсем иными, столь же оппозиционными, но не дворянско-оппозиционными настроениями.

Нет никакого сомнения, что Бюг-Жаргаль производит на читателя наибольшее эмоциональное воздействие. Лишь внимательно всматриваясь в роман, можно видеть его монархическую концепцию, но ее надо выискивать, ее надо склеивать по кусочкам, ее сразу не увидишь: она заслонена фигурой благородного, великодушного Бюг-Жаргаля, который защищает старых и слабых от несправедливостей и обид, отзывчиво и самоотверженно способствует счастью своего соперника, восстает против ненужных жестокостей и убийств и, верный товарищ, не позволяет, чтобы за него были казнены другие негры, заложники.

---

[4] От деда же Гюго мог узнать и историю спасения негром-рабом одной белой девушки во время этого восстания: мотив спасения Марии.

Бюг-Жаргаль — разновидность популярного в эпоху раннего романтизма образа благородного разбойника, точнее благородного предводителя разбойников. История этого образа весьма любопытна. Драма Шиллера «Разбойники», написанная в 1782 г., была переведена на французский язык спустя три года. В 1792 г. ее переделали в мелодраму — «Робер, предводитель разбойников»; в 1799 г. она была уже так известна, что ее не включают в списки переведенных пьес Шиллера. Напомним, что самому Шиллеру Законодательное собрание присудило как «другу человечества» звание французского гражданина; деятели революции считали Шиллера республиканцем, врагом монархии и дворянства.

Разбойничья литература пользовалась успехом по многим причинам. Если драма Шиллера, герой которой, после ее французского перевода-переделки, заговорил языком настоящего санкюлота, если эта драма отвечала настроениям революционной парижской буржуазии, то непритязательная авантюрная пьеса Цшокке «Абеллино, благородный бандит», переведенная в 1799 г., могла явиться неким откликом на деятельность разбойничьих шаек, чрезвычайно расплодившихся во Франции и в Европе между 1795 и 1803 гг.: на востоке и юге Франции, а также на Рейне свирепствовали многочисленные банды, состоявшие из явно-уголовного элемента; рядом с ними во Франции действовали так называемые «компани де-Жэю», роялистские шайки, мстившие республиканцам зверскими убийствами. Но если со всеми этими бандами Наполеону удалось к 1804 г. покончить, то его внешние войны наоборот способствовали расцвету разбойничьего движения в других странах Европы, где разбойничество зачастую принимало облик оппозиции тиранам или патриотизма. Фра-Дьяволо, первоначально обыкновенный бандит, преследуемый итальянской полицией, превратился затем в уважаемого патриота и получил даже чин полковника, когда он партизански обратил свои отряды против французов-завоевателей (в экспедиции против Фра-Дьяволо принимал участие генерал Гюго, отец поэта). Подобно Фра-Дьяволо в Испании против французов сражался разбойник-патриот Диаз. Романтикам известны были и многие разбойники в Греции, Турции и прочих странах.

Разбойники Шиллера и Цшокке, разбойники готических романов Рэдклифф и Матюрена, разбойники байроновских поэм — вот та традиция, которая во французской литературе проявилась сначала в «Жане Сбогаре» Ш. Нодье (1818), чтобы затем перейти к Гюго, закрепившись в его романах «Ган-Исландец», «Бюг-Жаргаль», и затем следовать даль-

ше — к Скрибу с его «Фра-Дьяволо», к Сендалю с его итальянскими хрониками «Аббатиста в Кастро», «Ванина Ванини», к Мериме с его «Коломба», «Кармен» и т. д.

Если из вышеуказанных чужеземных образцов разбойничьей литературы выбрать те, где образ разбойника не служит целям пустого развлекательства, а обнаруживает известную социальную осмысленность,— это окажутся «Разбойники» Шиллера и поэмы Байрона. Все эти произведения могут быть названы литературой социального протеста, восстающей — хотя бы в романтической эмоционально-живописной и позерствующей форме — против существующего строя, против закона, власти, установленных обычаев, принятой морали. И хотя смутен был социально-политический идеал авторов этой литературы (вспомните, что Шиллера не переводили, а переделывали), но самый факт их социального протеста, их бунтарства, их отрицания, проявлявшийся в эпоху борьбы буржуазии с дворянством, не мог не находить особенно горячего отклика среди читателей буржуазного класса.

П. С. Коган пишет о шиллеровских «Разбойниках»: «В эту эпоху общественного гнета разбойники как люди, стоящие вне общества, об'явившие войну затхлому, рутинному строю, становились излюбленными героями поэтов» [5]. С равным правом эти слова приложимы к эпохе Реставрации. Ведь образ разбойника встречается преимущественно у тех французских романтиков, которые принадлежали к буржуазии, и следовательно фиксирует в себе свойственные этому классу социально-протестующие тенденции; последние же в эпоху начала 20-х годов должны были выявляться приглушенно, иносказательно, недоговоренно, никак не ввиде открытой социально-политической программы поведения, а лишь в формс облагораживания самой стихии бунта. И если Нодье вкладывает в уста Жана Сбогара некоторые афоризмы, в которых сказываются отголоски социальных воззрений революции и которые как бы предвещают появление Прудона,— эти афоризмы так и остаются отрывочными, не слагаются в законченную систему.

Если жанр негрофильской литературы пришел к Гюго по буржуазной литературной традиции, то образом разбойника Гюго в еще большей степени обязан традициям социально-протестующей буржуазной литературы (нужно ли доказывать, что обе эти традиции являются и традициями революции?). Самый факт появления у Гюго этого образа

[5] П. С. Коган — Очерки по истории западно-европейской литературы, т. I, М.—Л., 1922 г., стр. 310.

(устойчивого появления: Ган-Исландец, Бюг-Жаргаль, разбойники в стихотворениях, Эрнани, Трюаны в «Соборе парижской богоматери», не говоря уже о будущем Жане Вальжане) свидетельствует о затаенно-буржуазной природе «Бюг-Жаргаля». Произведение, направленное к прославлению разбойника, не могло выйти из рядов дворянской литературы 20-х годов. Учтем кроме того, что Бюг-Жаргаль представляет особую разновидность образа благородного разбойника: это — повстанец, революционер, предводитель социально-угнетенных и восстающих общественных низов. Совершенно законна тенденция некоторых исследователей Гюго — Барбу и Ж. Симон — увидеть, хотя и с излишней прямолинейностью, в чертах Бюг-Жаргаля первый набросок Рюи Блаза[6].

Можно несколько уточнить этот вывод. Если Карл Моор восстает у Шиллера против существующего строя, это мотивировано личными причинами: интригами Франца и проклятием отца; действия Карла как главаря бандитов носят характер нападения на индивидуальных лиц, хотя бы и являющихся олицетворением того строя, против которого Карл восстает (министр, убитый им на охоте); наконец, Карл сдается правительству после того, как счастье с Амалией оказалось ему недоступным. Сравните роман Гюго: мотивировка действий Бюг-Жаргаля как бунтаря дана не личная (любя Марию, Бюг-Жаргаль уже отрекается от нее в пользу Леопольда, который спас ему жизнь), а социальная (избиение старика-негра); восстание негров тоже носит характер социальный, и Бюг-Жаргаль занят не уничтожением отдельных лиц, а наоборот спасением одиночек из общей массы белых, обреченных на гибель и умирающих за кулисами; мотивировка развязки тоже социальная (Бюг-Жаргаль соединяет Леопольда и Марию, а затем бежит на расстрел, чтобы спасти своих товарищей-заложников). Читатель понимает, что если бы Гюго вложил в уста Бюг-Жаргаля те пацифистско-бунтарские речи, какие ведет Карл Моор у Шиллера,— то роман Гюго окажется не только неизмеримо сильнее «Разбойников», но явится внутренне и внешне органическим продуктом психо-идеологии буржуазии 20-х годов.

Но этих-то бунтарских речей и не могло быть в романе по трем причинам: во-первых, класс Гюго не смел их высказывать; во-вторых, тот слой буржуазии, от имени которого говорил Гюго, еще исповедывал роялистские и антиреспубликанские воззрения в суб'ективной искренности которых сомневаться нет оснований, хотя об'ективно они и носили

[6] См. указ. соч. М. Сурно, т. I, ч. 2, стр. 106. Сурно напрасно возражает против этой тенденции.

характер мимикрийный; в-третьих, поскольку в романе происходит восстание негров и поскольку Гюго показывает это восстание глазами рабовладельцев и плантаторов, от которых, как и от своего деда, он получил материал [7], понятно, что бунтарские речи Бюг-Жаргаля были бы обращены против этих белых рабовладельцев. Вот почему Биассу, обладающий более или менее разработанной программой нападения, изображен чертами отрицательными. Поэтому же, когда в пятой главе молодые белые рабовладельцы «горячо разговаривают» о «гибельном декрете от 15 мая 1791 г., которым Национальное собрание признало за цветными свободными людьми те же политические права, что и у белых», Леопольд, рассказывающий этот эпизод, санкционирует их оценку декрета, соглашаясь, что этот закон «так жестоко колол самолюбие — быть может, справедливое — белых». Наивное «быть может» Гюго простительно, ибо ему свыше 100 лет, а ныне подобные словечки не высказываются уже никем, за исключением от'явленных идеологов западного империализма.

Изложенное позволяет видеть, что в романе Гюго имеются две диаметрально противоположные, но сосуществующие концепции. Первая, та вышеизложенная концепция, которая как будто позволяла думать, что роман написан дворянским писателем, и вторая концепция (возможно, бессознательная), органичность которой выяснилась через анализ негрофильской литературы и образа благородного разбойника — через сравнительный анализ «Разбойников» и «Бюг-Жаргаля». Последняя концепция вскрывает уже не психологию верноподданнического роялизма, а приглушенный социальный протест буржуазии начала 20-х годов. Понятно, что сожительство двух этих взаимноисключающих концепций не может быть мирным. Отсюда — некоторые попытки Гюго соблюсти равновесие, вырядить своих героев в канонические одежды персонажей главенствовавшего дворянского романтизма. Вот где разгадка дворянского имени Леопольда и королевского происхождения Бюг-Жаргаля, которое по существу никакой роли ведь не играет, потому что Гюго рисует своего героя не как принца, а как предводителя восставших рабов. Впрочем, к приему такого «облагороживания» Гюго будет прибегать и в дальнейшем. Если его Рюи Блаз по паспорту — «человек из народа», представитель общественных низов, то на сцене он предстает уже

[7] В предисловии 1826 г. Гюго приносит благодарность «многочисленным почтенным особам», колонистам и чиновникам, которые были свидетелями восстания и снабжали автора материалами.

с явным «оттенком благородства»: перед тем как стать лакеем, он был поэтом, непризнанным, голодавшим Чаттертоном...

Но излечивает ли Гюго этим приемом органическую противоречивость, свойственную его роману? Достигает ли он равновесия в романе? — Вряд ли. В каком же положении находятся обе его концепции? В неустойчивом их равновесии не обнаруживается ли какое-нибудь поступательное движение? Другими словами, нельзя ли говорить, что класс Гюго не только колеблется между двумя берегами, но уже обнаруживает психологию некоего переломного момента в своем пути?

В «Бюг-Жаргале» закрепилась психо-идеология того слоя буржуазии, который в начале 20-х годов, сближаясь по своим воззрениям с оппозиционными правительству левыми кругами дворянства, исповедуя монархические, католические и антиреспубликанские воззрения, не мог при этом не симпатизировать той воле к улучшению своего угнетенного положения, к свержению Бурбонов и дворянской гегемонии, произошедшему в июле 1830 г., той воле, которая пока могла сказаться лишь в идеализации высоких моральных качеств и завидных добродетелей восставшего раба. Этим слоем буржуазного класса могли быть в первой половине 20-х годов только консервативные и зажиточные группы мелкой парижской буржуазии и некоторые группы провинциальной торговой буржуазии; оговоримся, впрочем, что в эту эпоху более детальный анализ весьма труден, ибо диференциация буржуазного класса становится законченной и отчетливо ясной только после июльской революции.

Обратимся же к поставленным вопросам. Сличим снова первую и вторую редакции романа. В первой редакции не было той темы ненависти, носителем которой во второй является карлик Габибра. Откуда взялся этот образ? Не будем искать далеко: достаточно вспомнить «Гана-Исландца». Герой этого романа, Ган, является не только разбойником, мстящим за своего сына, но при этом отталкивающе-кошмарным зверем, лютым ненавистником человечества, наделенным уродливо-гротескной внешностью. Этот образ Гана как бы разделился теперь надвое: во второй редакции «Бюг-Жаргаля» разбойником является благородный Бюг-Жаргаль, а гротескным злодеем-ненавистником карлик Габибра. Вряд ли мы ошибемся, утверждая, что в образе Гана сказалось чистейшее дворянски-реакционное представление о разбойнике, который всех без разбора убивает, а сам по себе — чудовище. И вот, два года спустя, Гюго отводит тему ненависти к образу Габибры и заявляет, что

разбойник, что предводитель восставших негров благороден и морально-высок! Не показательно ли это?

Этот факт, думается, имеет немалое значение. В свете его мы поймем глубже диалектику «Бюг-Жаргаля», а еще более уяснится она, если вспомнить, что уже в 1827 г., через два года, Гюго разрывает с легитимизмом и заявляет себя бонапартистом; эти новые настроения проявляются в его оде «К Вандомской колонне». Теперь он выказывает длительный интерес к образу Кромвеля, пивовара, свергнувшего монархию Стюартов («Кромвель»), а затем он станет изображать французских королей ввиде слабоумных («Марион Делорм») и восхвалять в лице чулочника Коппеноля достоинства буржуазно-демократической революции («Собор парижской богоматери»). Так, мы видим, что из двух пластов «Бюг-Жаргаля» один, квази-дворянская концепция, является уже отступающим в прошлое, начинающим мертветь, готовым отвалиться, а другой — победоносно и смело развертывается в грядущее, в вереницу тех гордых, звучных, социально-бунтующих произведений, которые создали Гюго его литературную славу.

В 1853 г., находясь в изгнании, Гюго писал в новом предисловии к новому изданию своих «Од и баллад»: «...И если правда, что Мюрат мог показывать с некоторой гордостью свой хлыст [8] рядом со своим скипетром, говоря: «Я начал с этого», то конечно с еще более законной гордостью и с более удовлетворительной совестью можно показать свои детские и юношеские роялистские оды рядом с демократическими произведениями, написанными в зрелом возрасте; это, я думаю, позволительная гордость, особенно, когда, совершив восхождение, найдешь на вершине изгнание и можешь пометить это предисловие местом своей ссылки». Гюго, разумеется, был прав, не отказываясь от своих ранних произведений, и если все же этим его строкам присущ некоторый извиняющийся тон, как бы стыд за непостоянство убеждений, то Гюго относится к себе слишком сурово, ибо, преувеличивая значение личности, недооценивает всю сложную совокупность причин, при которой его ранние монархические убеждения оказывались столь же детерминированными, как последующие оппозиционные и республиканские.

---

[8] Мюрат — один из маршалов Наполеона, до революции был конюхом.

В. И. Денисов

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ РЕДАКЦИЙ «ПРОПАВШЕЙ ГРАМОТЫ» ГОГОЛЯ[1]

Для статического исследования отдельного поэтического факта не требуется привлечения его первоначальных набросков или других его редакций. В этом случае исследователь осмысляет произведение только через его текст в последней редакции. Но для понимания процесса возникновения, динамики формирования поэтического произведения сравнение его с подобными ему набросками, а тем более с другими редакциями, имеет несомненное значение. Это сравнение вводит нас не только в эволюцию этого единичного поэтического факта: раскрытие этой эволюции в известных случаях может дать многое для понимания всего творчества данного автора.

Задачей настоящей статьи является сравнение двух редакций «Пропавшей грамоты» Гоголя, выявление через это сравнение имеющегося между ними различия, а вместе с тем и выявление эволюции в формировании этого произведения, насколько позволяет это сделать добытый из сравнения материал, при условии социологического осмысления различия редакций, показывающих эволюцию в работе Гоголя.

I

Первый подлежащий сравнению вариант «Пропавшей грамоты», представляющий первую редакцию этой «были», долгое время был неизвестен. Он был напечатан только в 1902 г. Рукопись первой редакции наполовину разделила судьбу большинства гоголевских рукописей: она была им разорвана, но, к счастью, не сожжена. В числе некоторых других она была взята у Гоголя уже в разорванном виде М. П. Погодиным,

[1] Настоящая статья представляет доклад, прочитанный автором в одном из семинариев литературного отделения I МГУ весною 1928 г.

затем, пройдя через ряд рук собирателей, восстановлена и в 1902 г. впервые напечатана в ж. «Исторический вестник» (декабрь) Михайловым.

Этот вариант «Пропавшей грамоты» мы будем сравнивать с «Пропавшей грамотой» в 10 издании соч. Гоголя, редактированном Н. С. Тихонравовым. Это издание мы предпочитаем другим, считая его наиболее полным и точным изданием гоголевских произведений, так как текст его сверен с собственноручными рукописями автора или первоначальными изданиями его произведений, благодаря чему текст сочинений Гоголя освобожден от всех произвольных поправок их редакторов.

Это обстоятельство чрезвычайно важно, так как оно дает право утверждать, что ни один факт различия между этими редакциями не привнесен в них со стороны, а является результатом творческой работы самого Гоголя.

Прежде чем перейти к непосредственной задаче нашей статьи, необходимо сделать еще несколько предварительных замечаний об общем стилевом характере «Пропавшей грамоты». «Пропавшая грамота», как и все содержание «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в первой части которых она напечатана, представляет собой сочетание двух стилевых стихий, имеющих различные источники и крайне различный характер. Одна стилевая стихия, основная в творчестве Гоголя, берет свое начало в быте мелкопоместных дворян, который и является той социальной средой, которая породила все творчество Гоголя. Другая стилевая стихия идет корнями в малорусскую народную поэзию и историю вольного казачества, куда углубляется Гоголь в поисках красивого и героического, которое можно было бы противопоставить пошлой, бессмысленной и полуживотной жизни мелких душевладельцев [2]. Эту стилевую двойственность можно проследить и в «Пропавшей грамоте». Имея ввиду такой общий стилевой характер этого произведения, перейдем к непосредственной нашей задаче — к сравнительному анализу двух его редакций.

II

Сравниваемые редакции представляют собой лишь только две вариации одного произведения. Это уже предполагает, что между ними есть несомненное сходство. В основном обе редакции «Пропавшей грамоты» сходны. Но кроме этого сходства между ними есть и очень существенное различие, идущее по двум основным линиям: 1) по линии

[2] В. Ф. Переверзев — Творчество Гоголя.

стиля, в узком и собственном значении этого слова, и 2) по линии фантастических картин как момента композиционного.

Основное различие между сравниваемыми редакциями «Пропавшей грамоты» — стилевое различие. С него и начнем. Но прежде опять-таки нужно заметить, что стиль (в узком смысле слова) этих редакций в основном имеет одни и те же черты.

Как в первой, так и во второй редакции, с одной стороны, можно найти много приемов и элементов, взятых Гоголем из малорусской народной поэзии: периоды, фигуры лирической возвышенной речи и т. д., с другой стороны — в них много элементов, взятых Гоголем из жизни родной ему среды: ампликации, пересыпание речи ненужными словами и т. п. Но только эти элементы даны в этих редакциях в различных количественных и качественных соотношениях, что и делает их стили значительно различными.

Как известно, Гоголь вступил в русскую литературу без должной подготовки в русском языке и поэтому должен был много учиться последнему. Сравнение двух редакций «Пропавшей грамоты» очень показательно в этом отношении. Но мы не будем касаться тех различий между редакциями, которые являются следствием работы Гоголя в области усвоения русского литературного языка. Большой научный интерес представляют те различия между сравниваемыми редакциями «Пропавшей грамоты», которые являются **стилистическими** различиями. Ими мы и займемся.

Анализ стиля редакций «Пропавшей грамоты» прежде всего дает нам указание на то, что стиль первой редакции отличается от стиля второй редакции большей неуклюжестью, грубоватостью. Приведем несколько примеров. Первая редакция: «**Петух не драл в четвертый раз горла**»[3]. Во второй редакции на этом месте стоит другая по стилю фраза: «**Петух не кричал в четвертый раз**». Первая редакция: «**С недоспанной рожей возле такого храпка шла перекупка**». Вторая редакция: «**Возле храпела, сидя, перекупка**». Первая редакция: «**По всему табору понесло горячими сластенами**». Вторая редакция: «**Запах горячих сластен понесся по всему табору**». Список таких примеров, показывающих, что стиль первой редакции отличается гораздо большей грубостью и неуклюжестью, чем стиль второй редакции, можно зна-

[3] Текст первой редакции печатаем с соблюдением той орфографии какая дана в публикации Михайлова («Исторический вестник», 1902 г., кн. 12).

чительно увеличить. Излишне напоминать, что грубоватость, неуклюжесть, но вместе с тем яркость и сочность суть отличительные черты языка родной Гоголю, примитивной и неуклюжей в своей жизни, мелкопоместной среды. Положение, что язык родной Гоголю социальной среды нашел в первой редакции «Пропавшей грамоты» более яркое выражение, чем во второй, подтверждает также и тот факт, что в первой редакции значительно больше, чем во второй, вводных слов, ненужных фраз, загромождающих речь (напр., «уж как говорят», «так как бы вам сказать» и пр.), что характерно для речи малоразвитых людей, какими являлись в своей массе обитатели мелких поместий. Итак, первое, что следует отметить в различии сравнительных редакций «Пропавшей грамоты», это то, что стиль первой редакции отличается от стиля второй тем, что в нем больше элементов, взятых Гоголем из стихии родного языка мелкопоместной среды.

Но если в первой редакции «Пропавшей грамоты» больше, чем во второй, элементов языка родной Гоголю социальной среды, то во второй редакции значительно больше, чем в первой, элементов стиля, взятых Гоголем из малорусской народной поэзии и из истории вольного казачества. Как первая, так и вторая редакции почти сразу начинаются с лирического отступления, но нужно сказать, что эти лирические отступления значительно отличаются друг от друга.

Приведем эти места. Первая ред.: «Вы люди бывалые, вас не напугаешь чудными дивами, которых как-то в разумную старину не в сто мер было больше; ведь точно нивесть какая радость падет на сердце, как услышишь про то, что далеко-далеко, и года и месяца нет, деялось на свете». Вторая ред.: «Эх, старина! старина! Что за радость, что за раздолье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете»

Если в первой редакции начало этого отрывка представляет обращение к слушателям, людям бывалым, которых не напугаешь чудными дивами, то во второй редакции на этом месте стоит лирическое восклицание, фигура лирической возвышенной речи, придающая отрывку более яркую эмоциональную окраску. С помощью введения этого лирического обращения к старине, вместо простого обращения к слушателям, Гоголь лучше выражает чувство любви и восхищения к героическому прошлому. Несомненно, что этот прием лирического обращения взят Гоголем из малорусской народной поэзии. Это явление конечно не

случайно и очень показательно. Рассмотренный пример наиболее характерен, но он не единственен. Во второй редакции мы встречаем много элементов стиля, почерпнутых Гоголем из истории казачества и народной поэзии. Приведем еще примеры, подтверждающие это положение.

Первая ред.: «Долго стоял дед у берега, поглядел на все стороны, как вот заметил на другом берегу огонь, который, казалось, каждую минуту хотел погаснуть и вспыхивал, снова показывая личину свою в речке, дрожавшей, как польская шляхта в московских лапах». Вторая ред.: «Долго стоял дед у берега, посматривая во все стороны. На другом берегу горит огонь, и кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как шляхтич в казачьих лапах». Мы видим, что здесь в одном и том же месте употреблены различные обороты, образы сравнения. В первой редакции образ сравнения взят из современных Гоголю политических событий (речка вздрагивала, как Польша в московских лапах). Во второй редакции взято другое сравнение (речка вздрагивала, как шляхтич в казачьих лапах), уносящее нас в даль веков, в эпоху удалой борьбы казачества с польской шляхтой за независимость политическую и религиозную. Приведу еще несколько аналогичных примеров. Первая ред.: «Если вы не отдадите мне казацкой шапки моей, то будь я собачий сын, если не повертаю всем вам шеи и не поворочу правильнее рож ваших на затылок». Вторая ред.: «Если не отдадите шапки моей, то будь я католик...» и т. д. Клятва, употребленная в первой редакции, взята из перебранок солох и хиврей. Во второй редакции она заменена клятвой, относящейся к прошлому Украины. Она приближает образ деда к образу старого казака, борющегося с басурманами за веру православную. Подобных примеров можно привести много.

Таким образом, сравнительный анализ стиля (в узком смысле слова) обеих редакций «Пропавшей грамоты» приводит нас к тому выводу, что в первой редакции гораздо более элементов языка родной Гоголю социальной среды, чем во второй, и наоборот во второй редакции больше элементов стиля, взятых из народной поэзии Украины и из исторического прошлого казачества.

Работая над второй редакцией, Гоголь отходил от первой в определенном направлении — в сторону стилизации под малорусскую народную поэзию. Именно этим об'ясняется замена грубых слов и неуклюжих

фраз и оборотов первой редакции словами и оборотами, взятыми из народной поэзии и истории Украины,— во второй. Эта замена особенно ярко проявляется в тех местах, где Гоголь дает картины и образы прошлого казачества. Например, как это уже было видно из примеров при обрисовке образа деда или другого казака, храброго гуляки, продавщего душу чорту. Благодаря этому и получилось то стилистическое различие между первой и второй редакциями, которое мы выявили через их сравнительный анализ.

Следующее заметное различие между первой и второй редакциями «Пропавшей грамоты» идет по линии зарисовки фантастических картин. Это различие прежде всего количественное. В первой редакции больше картин фантастических, чем во второй. Но помимо количественного различия в фантастических картинах, между этими редакциями в этом плане есть и качественное различие. Большинство фантастических картин — первой редакции, но те, которые выброшены во второй, имеют большей частью юмористически-нелепый характер. Чорт, обитатели ада и т. п. вообще изображаются Гоголем мелкими, трусливыми и смешными проказниками. Для изображения их у Гоголя нет других выражений, кроме как «смазливые рожи», «хари» и т. д. Черти у него с собачьими мордами, свиными рылами, на немецких ножках. Такой характер обрисовки чертей свойствен органически Гоголю как художнику мелкопоместного слоя [4]. Фантастические картины первой редакции особенно характерны таким изображением обитателей ада. Чорт там в одном месте сравнивается с трусливой собакой, убегающей, поджавши хвост. («И думаю — сам нечистый, поджавши хвост, побежал бы, как собака, когда увидел бы дедову рожу».) В другом месте черти похожи на воронов в жидовских ермолках. («И чудно ему показалось, когда вместо листьев стали видеться жидовские ермолки и словно вороны чернели посреди ночи».)

Во второй редакции Гоголь счел нужным выбросить из описания фантастических картин и похождений деда те моменты, которые вносят с собой элементы юмора и смешной нелепости, а также и черты, рисующие обитателей пекла трусливыми и смешными проказниками. И во второй редакции мы уже не видим сравнения чертей с трусливыми собаками или воронами в жидовских ермолках, которые были выше приведены из первой редакции. Кроме того во второй редакции значительно сокращено описание фантастического путешествия деда на коне-

[4] В. Ф. Переверзев—Творчество Гоголя.

чорте, по сравнению с первой редакцией. Гоголь выбросил следующее место из этого описания, которое есть в первой редакции: «Кручи, рытвины, косогоры, провасти, буераки, волки, ястреба, цапли,— кажись, все перед ним синело, куталось и дразнило его языками. Деревья протягивали ветви и хватали его за шапку так, что дед был принужден снять ее и держать в руке, ухватившись другою за гриву, а проклятые ветви, видно нарочно, между тем щелкали его по носу и брали за чуб, но досаднее всего показалось деду то, что, смотреть, дрянь какой кустик и тоже, смотри, вытягивается ухватить его за чуб» (1-я ред.).

Эта картина косогоров, рытвин, зверей, птиц, дразнящих деда высунутыми языками, и тем более моменты с кустиком, тянущимся за чубом деда, несомненно приносит с собой в это описание элемент юмора и смешной нелепости. Эти моменты по существу делают эту картину из фантастически-страшной, способной в должной мере оттенить героизм деда, смешной и курьезно-нелепой, отнюдь не подчеркивающей героичность поступка деда, а наоборот придающей ему оттенок смешного и нелепого похождения. Приведем еще подобный пример. В самом конце первой редакции «Пропавшей грамоты» мы находим такое место: «Слово за слово — дед и заикнулся про грамоту и начал уже было рассказывать. Только глядь невзначай вверх на полку — горшки все понадували щеки, выпучили глаза и стали ему строить хари, что деда мороз подрал по коже».

Этот эпизод с горшками — яркий пример фантастической чепухи и нелепости. Он тоже вводит нас не в мир красивых таинственных и героических похождений, а в мир курьеза и нелепости. Во второй редакции этот эпизод тоже выброшен. Курьезная чепуха, смешная нелепица, имеющая место в творчестве Гоголя, обусловлены социальным генезисом его таланта; они порождены социальной средой, породившей его талант. Гоголь не может отрешиться от них даже тогда, когда хочет унестись через мир фантазий в иной, красивый мир прошлого Украины.

III

Сравнительный анализ первой и второй редакций с убедительностью показывает нам, что, работая над второй редакцией, Гоголь старался избежать того, что делало фантастические картины курьезными и нелепыми.

Благодаря этому Гоголь достигает того, что во второй редакции картины фантазии делаются более страшными и таинственными, чем в первой редакции, более отвечающими основному устремлению этого произведения.

Итак, различия между первой и второй редакциями «Пропавшей грамоты» сводятся к следующему: 1) во второй редакции больше элементов стиля, уходящих корнями в малорусскую народную поэзию, и меньше элементов языка родной Гоголю мелкопоместной среды, чем в первой редакции; 2) фантастика, носящая в большинстве случаев курьезно-нелепый характер, во второй редакции изменена в сторону серьезности и таинственности. Наблюдаемые различия между двумя редакциями «Пропавшей грамоты» важны не сами по себе, а как показатель эволюции формирования этого произведения, которая в свою очередь имеет ценность как показатель эволюции творчества Гоголя вообще в период «Вечеров».

Как показывают сравнения, эволюция формирования «Пропавшей грамоты» направлена в сторону большей стилизации под малорусскую народную поэзию, в сторону усиления стилистических элементов, приближающих ее к произведениям Гоголя типа «Тараса Бульбы». Чем же об'яснить эту эволюцию формирования «Пропавшей грамоты», на которую указывают выявленные различия между первой и второй ее редакциями?

Стиль, в узком смысле слова, и фантастический элемент как композиционный прием, являются дробными единицами образа, отдельными планами, в которых развертывается образ. Социальная сущность, сформировавшая данный образ, сформировала и те планы произведения, в которых образ как социально-психологическая сущность, получает свое бытие. И для того, чтобы понять причину различия в стилистическом и композиционном планах между первой и второй редакциями «Пропавшей грамоты», необходимо прежде уяснить, что собой представляют те образы, которые в этих планах развертываются, т. е. найти ту социальную сущность, которая сформировала эти образы.

Дед — старый казак. Он уже отличен от старых казаков типа Макогоненко, которые представляют собой простое переодевание мелких душевладельцев собакевического склада в казацкий костюм. Дед дан казаком не только внешне, — он перенесен уже в другую историческую среду. При некоторой схожести со старыми казаками типа Макогоненко он имеет уже до некоторой степени отличную от них психологию. Он показан храбрым и бесстрашным казаком эпохи гетманщины, выполняю-

щим важные поручения гетмана. Образ деда — первый этап следования Гоголя от простого переодевания помещиков в казацкие костюмы к их аналогичному собрату времен вольного казачества — к Тарасу Бульбе. Правда, перенесение деда в соответствующую казацким образам историческую среду еще очень несовершенно, благодаря чему его героизм и проявляется главным образом в фантастической обстановке. Но все же тенденция развития образа деда в сторону Тараса Бульбы несомненна, тогда как Макогоненко стоит ближе к тому, чтобы снять казацкую свитку и сделаться окончательно Собакевичем. Это обстоятельство говорит о том, что попытка разделения двустихийности «Вечеров» и прикрепления каждой из стихий к родной почве есть уже в самих «Вечерах».

Итак, в образе деда есть уже попытка дать образ храброго казака. Стремление же Гоголя к прошлому Украины с его героическими личностями необходимо обусловлено социальной природой его творчества. Факт подражания и реставрации в гоголевском творчестве не представляет ничего исключительного и об'ясняется без особых затруднений. Он логически вытекает из той психологии тоски и разочарования, которая рождалась в лучших людях разлагающегося поместного класса. Нет ничего удивительного и в том, что в своих подражаниях Гоголь пользуется малорусско-казацкими мотивами: ведь исходная точка его творчества — малорусское поместье [5]. Психология тоски и разочарования — вот та социальная сущность, которая пронизывает все творчество Гоголя. Выросши в условиях небокоптительства, эта психология отрицает небокоптительство и стремится уйти от него в иной красивый и героический мир вольного казачества. Эта психология и организует казацкие образы, об'ективируясь в них. Эти казацкие образы требуют для себя и особых средств оформления, они не могут жить в таком оформлении, в каком живут образы небокоптителей. И мы знаем, что для оформления казацких образов Гоголь брал нужные для этого изобразительные и выразительные средства из малорусской народной поэзии.

Поняв вообще сущность казацких образов и тех дробных единиц, которые дают им бытие, мы теперь без труда поймем, почему сравниваемые редакции «Пропавшей грамоты» различаются в этих дробных единицах — в стиле и фантастическом элементе.

Психологическая сущность деда в той и другой редакциях как будто одна, но все же образы деда в этих редакциях различны. Во второй

[5] В. Ф. Переверзев — Творчество Гоголя, изд. 3, 1928 г., стр. 176.

редакции дед ближе стоит к образу настоящего казака, чем в первой, и это произошло потому, что тут он дан в более соответствующих этому образу изобразительных красках, чем в первой редакции. И мы не ошибемся, если скажем, что, работая над второй редакцией, Гоголь изменял ее стиль, по сравнению с первой, в сторону большей стилизации под малорусскую народную поэзию, именно для того, чтобы сделать образ деда более похожим на героя-казака; именно для того он изменял стиль последней, напечатанной им редакции «Пропавшей грамоты», очищая ее от мелкопоместных элементов и привлекая туда больше элементов малорусско-казацкой поэзии, которые для оформления сильной героической личности были наиболее соответствующими средствами. Этим же стремлением Гоголя нарисовать героический образ казака об'ясняется и различие в фантастических картинах между первой и второй редакциями «Пропавшей грамоты». Придавая им более серьезный и таинственный оттенок в последней редакции устранением тех их элементов, которые делают фантастические картины первой редакции комичными и нелепыми, Гоголь достигает того, что похождения деда и он сам лишаются той комичности, которую они имеют в первой редакции, и делаются более серьезными, героичными. Осерьезнивание фантастических картин во второй редакции тоже приближает образ деда к образу настоящего казака. Таким образом, различие между первой и второй редакциями «Пропавшей грамоты» показывает, что эволюция формирования этого произведения направлена в сторону приближения его к «Тарасу Бульбе». Стремление же Гоголя нарисовать картину героического прошлого Украины, уход его в вольную и красивую казацкую жизнь, как уже указывалось выше,— обусловлены его социальной сущностью. Психология тоски и разочарования лучших представителей мелкопоместной среды, выросшая в условиях небокоптительства, отрицает небокоптительство, стремится уйти от него в иной красивый мир вольного казачества. Это стремление обусловило наличие малорусско-казацкой стихии в творчестве Гоголя, выделение и очищение ее от мелкопоместных элементов, а вместе с тем и эту эволюцию формирования «Пропавшей грамоты».

Таким образом, изменение стиля в сторону стилизации под малорусско-казацкую народную поэзию и изменение фантастического элемента, идущее по пути освобождения его от комичности, во второй редакции «Пропавшей громоты» соответствуют общей психологической устремленности этого произведения, направленной к созданию героических образов

прошлого казачества. Таким путем формировалась «Пропавшая грамота», какой мы ее знаем в последней редакции. И если «Пропавшая грамота» вообще свидетельствует о том, что процесс диференциации стиля «Вечеров» на основные стилевые стихии есть в самих «Вечерах», то эволюция формирования «Пропавшей грамоты», выявленная из сравнения двух ее редакций, подтверждает это положение.







ГОСИЗДАТ РСФСР

Продолжается подписка на 1930 г. на журнал теории истории и литературы

ЛИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ

●

ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ» разрабатывает вопросы теории истории и литературы с точки зрения марксистской методологии

●

В ГОД ВЫХОДИТ 6 КНИГ

●

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Методология литературоведения.
2. Поэтика.
3. История литературы.
4. Вопросы современной литературы.
5. Библиографическое обозрение.
6. Хроника.
7. Обзор научной жизни учреждений, разрабатывающих вопросы литературоведения.

●

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 6 руб., на 6 мес. — 3 руб.
Отдельный номер — 1 руб. 20 коп.

Журнал выходит под редакцией коллегии Института языка и литературы РАНИОН — П. И. Лебедева-Полянского, И. М. Нусинова, С. С. Динамова и А. И. Зонина.

●

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Периодсектором Госиздата РСФСР, Москва-центр, Ильинка, 3; Ленотгизом, Ленинград, пр. 25 Октября, 28; в отделениях и магазинах Госиздата; у уполномоченных, снабженных удостоверениями; во всех почтово-телеграфных конторах и у письмоносцев. По Москве подписку направлять: Мосотгиз, Москва, Неглинный проезд, 9.